



НОВИКИ-СОВРЕМЕННОКА

---

Сергей Багров

# Портреты

Рассказы

939623

«Современник»  
Москва  
1980

# Перегон

## Великий Двор

Таких деревень, как Великий Двор, на Вологодчине много. Избы в четыре порядка. Под окнами ульи, черемухи и березы. По мураве междудворий бродят куры и овцы. В подугорье проулков — колодцы с высокими журавлями. Половина домов в тесовой опушке, половина — окрашена. Огороды обнесены где тыном, где пряслами, а где штакетником и забором. На каждой второй крыше по соседству с трубой усики телеантенны.

Народ, как и свойственно людям северных деревень, немногословен, скуп на улыбку, на работу не тороплив, но если примется за нее, тут уж глядишь на него с нарастающим уважением.

Разные люди в Великом Дворе. По характеру разные, по привычкам, по умению жить.

Деревня пробуждается ранним утром. Поля со стогами соломы. Желтый убор лесов. Первый лучик зари. Утро растет. По нескошенным нивам хлебов плывут широкие заливы света. Скрипят петли ворот.

Пастух Яков Иванович Холмогоров, конопатый мужик, в зимней шапке и пиджаке, длинноногий и большеносый, спешит прогоном к сжатому полю. В руках его серебряно блещет горн. Нашел когда-то его на свалке металлолома, починил и, забросив дощатую барабанку, стал пасти стадо с горном. Далеко, к самому горизонту, струится напев пионерской трубы.

Доярки в синих халатах, резиновых сапогах (по-местному — грязнодавах), закончив первую дойку, идут на гибридное поле. В руках — ножи, топоры и плетюхи.

И бригадир уже на ногах. У многоумного, быстрого на ходьбу и работу Степана Попова в голове сто планов и

сто заданий. Голос его басовит и широк, летает по всем подворьям:

— Анна, е-е! Ты седни с бабами лен сымать!

— Олѣх! Не забыл? На ток подавайся! Будешь рожь семенную грузить!

К колхозной конторе, сея крупной шаги, спешит белощекий и круглый, с маленькой плешкой на голове счетовод Селиванов. Под мышкой сжимает брошюры. Лицо важное.

— Чего рано так? — окликает его бригадир.

— Дела, Степан Аверьянович, дела. По общественной части...

Селиванов известен в колхозе не только как счетовод, но и как агитатор, как лектор, как политический информатор. Знают его во всех пяти деревнях как самого первого грамотея. Сегодня после работы вместе с сельской агитбригадой он выедет в Соловьево. Станет рассказывать о политике партии и правительства по дальнейшему развитию сельского хозяйства нечерноземной зоны страны. К лекции он готовился бы и дома, но там: четверо сыновей, трое дочек, жена; и все, как один, с толстыми голосами. Потому-то он и спешит к конторе, где никто с утра не мешает, можно с мыслями подсобраться и сделать в блокноте краткий конспект.

Возле клуба слышится грохот. Киномеханик Игорь Иванович Зайцев пихает скамейку в кузов колхозной автомашины. Загрузил одну, побежал за второй. Кто-то спрашивает у него:

— Не со всем ли га́музом хочешь переселиться?

— Со всем! — улыбается Зайцев.

— А куда?

— За Внуково, на гумно.

— С каких это калачей?

— Да тамо народу боле. Хочу увеличить финансовый сбор.

— Ишь ты! План, что ли, не выполняешь?

— Угадал. С планом-то с этим я в лужу сел...

\* \* \*

Над огородами тут и там прошивают воздух домашние пчелы. У пчел последние вылеты к поздним цветам. За деревней, где поле по внешнему контуру сжато, а в

середине бурно и желто, будто стадо бегущих кобыл, волнуется рожь, краснеют комбайны.

На одном из них Иван Катеринин, неширокий, но плотный мужик с курносом носом, на котором под сводом русских бровей не то наивно, не то восторженно голубеют круглые маленькие глаза. Ничего особенного в портрете. Таких, как Иван, можно часто увидеть где-нибудь на окраине поля в кабине кряхтящего трактора, на какой-нибудь конной косилке, под сломавшимся грузовиком, на дворах «Сельхозтехники», в рейсах с лесом или трестой.

Судьба Ивана, как и многих механизаторов, сложилась проще простого. Восемь классов закончил, подался в СПТУ, потом армия, из армии возвратился домой, стал постоянным работником поля.

Постоянным? Здесь надо оговориться. Однажды в его постоянстве случился намеренный срыв. По натуре Иван — человек простодушный и безотказный, не умеющий спорить и долго стоять на своем. Что попросят его — хорошее ли, худое — ему уж не отказать. После смены на тракторе домой бы, на отдых. Однако и дома его находили то сосед, то родственник, то просто знакомый. Приходили с просьбами: одному дров из лесу привези, второму — сена, третьему — кирпичей. Иван просьбам внимал, а после поездки — хочет того или нет — полагалось бражное угощение. Сегодня — водка, завтра — вино, послезавтра — мальтоза<sup>1</sup>, там снова водка. И так каждый день. Сколько может выдержать человек? Иван выдержал два с половиной года. В последние дни он такую усталость, такое бессилие ощущал, словно и жить-то ему уже надоело. Решил в конце концов бросить пить. Но как это сделать? На тракторе невозможно. И тогда Иван со скандалом, бранью и скверненькой славой из трактористов ушел. Стал трудиться на разных работах. Сначала было легко: голова не болела, никому ничем не обязан, стали свободными вечера. Но потом с тяжелым напором привалилась к сердцу тоска: «Своим ли я занимаюсь делом? Ладно ли я поступил?» Да и жена запилила: мало денег стал приносить, она больше его получает. Пошел на попятную. Председатель колхоза, выслушав бывшего тракториста, уверенно пообещал:

---

<sup>1</sup> Мальтоза — законсервированная брага.

— Ладно. Это наша забота. Убережем тебя от шабашек, а попутно и от вина. Взвалим это на бригадира, а уж он уследит.

Снова стал Иван трактористом. Разумеется, с просьбами вновь приходили, пореже, конечно, не каждодневно. В потемках зреющих вечеров, прицепив к трактору волокуши, ехал он за строительным лесом, за сенем, за почтой, за кирпичами...

Сегодня Иван на жатве. Ветерок заплетает в колосьях длинные косы. Иван запускает мотор. Птичий гомон, шелест листвы, лай далекой собачки — все умирает в грохочущем гуле. Комбайн идет тяжело, вырезая в хлебах настоящий проулок. Сколько было таких проулков?! Сколько будет еще!

Ныне хлебных полей прибавилось в их колхозе на целых сто двадцать гектаров. Иван сам участвовал в раскорчевке поросших сорным кустом земель, сам распахивал их, сам засевал по осени рожь. Урожай пока получался пятнадцать центнеров с каждого из гектаров. Иван мысленно подсчитал, что только за счет прирезанных к главному полю окультуренных площадей можно взять еще сто семьдесят тонн зерна. Что ж, для начала совсем неплохо. А на будущий год к колхозному полю прибавятся и участки земель, отвоеванных у болота, где работал отряд мелиораторов из райцентра. Так что будет где развернуться колхозному хлеборобу.

Подпрыгивает над головой металлический зонт. Изпод выгоревших бровей щурко смотрят глаза — сторожат трясущуюся жатку, под которой толстым крутым жгутом ярятся сжатые стебли. Вдруг откуда-то сзади просторный оклик:

— И-ва-ан!!!

Обернулся Иван. Возвышаясь над мостиком, в самодельном берете из носового платка, загорелый и долговязый, стоит и машет рукой Воронин. «Незаладка стряслась!» — смекнул Катеринин и, спрыгнув в жнивье, поспешил к комбайну. Поломка была обычная: в жатке расплавился и дымил подшипник. Иван, естественно, подсобил, но сказал напоследок с пригрозкой:

— У самого-то чего? Али дыры в руках?

Михайлу пришлось признаться:

— Боялся, что меня запередишь, уйдешь далеко. А нагонять-то тебя умеет не каждый...

Снова Иван под алым зонтом. Низовой теплый ветер поднимает с суглинистых комьев желтую пыль. Пыль скрипит на зубах, забивает дыхание. Да еще это солнце, неподвижное, сонное, как прибитое к небесам.

Невдали, за сжатым участком, от большой пятистенной избы вынырнул грузовичок. Сюда, за зерном, понял Иван и ревниво взглянул назад. Комбайн Михаила шел по кругу, не отставая. Красные планки жатки вращались так быстро, что казалось, лютует на них огонь. «Хорошо идет, споро, ни сколь не хуже меня. Кто, интересно, первый спустит зерно...» — прикидывал Катеринин.

Грузовичок увеличился, превращаясь в большую машину, у которой подплясывал кузов и визжали борта. В кабине — с дымящейся сигаретой моложавый Коля Титов, шофер с удивительно тонким чутьем, узнававший всегда, у какого комбайна бункер полнее. На шершавых губах Ивана победный смешок. Грузовик торопился к нему.

В теплой истоме поля желтел качавшийся на колосьях воздух. Уже трижды подъезжал за зерном Коля Титов. На четвертый раз в кабине рядом с шофером комбайнер рассмотрел своего восьмилетнего сына Сережу.

Сережа серьезен, хозяйствен, пытлив и очень любит работать. Да и не только Сережа, пожалуй, все дети в Великом Дворе постигают прелесть труда, управляя с коленок отца трактором или автомашиной, отвозя под приглядкой старшего брата телегу сена к стогам, обряжая с матерью колхозных коров на ферме.

Сережа вскарабкался на комбайн, взъерошенный, желтоволосый. Приятно отцу, что сынок растет не каким-нибудь там лоботрясом, а просужим заботливым мужичком. Спрашивает как можно серьезней:

— Чего глазешки разел?

Сережа бойко и весело отвечает, как первый работник:

— Хочу хлебов покосить!

— А сумеешь?

— Сумею?

Встанет Сережа к отцу на мостик. Вздогнет комбайн, покачнется на комьях и, срезая жаткой колосья, широко и мощно пойдет по кругу. Рожь расходится вправо и влево, будто ее раздвигают веслом. Смотрит Сережа

вперед и, забывая себя, ощущает странную невесомость, точно он растворился в просторе полей, и легко ему, нежно, и летит уже он над стожками соломы посвистывающим дроздом, и машет макушкой далекой березы, и льется запахом колосков.

До первых потемок пробудут отец с сыном в поле. А потом Иван внятно скажет: «Шабаш!», заглушит мотор и, закулив папиросу, станет жадно внимать тихим звукам природы. Да и кто из крестьян, много и с пользой поработав, не любит хотя бы на самый коротенький миг вспомнить себя, вспомнить свое самое лучшее время.

Слышит Иван шорох слетевшего с ветки листа, плеск реки на гладких камнях, робкий-робкий, будто вышедший из скорлупки, велосипедный дальний звонок. Перед его глазами мелькают картины детства, и сердце его, ласково раскрываясь, ловит их с радостью и тревогой. Он видит себя маленьким и воздушным, как осенний легкий листок, который куда-то летит, нигде не смея остановиться. Обнимает Ивана то самое настроение, когда душа, сладко тоскуя, ищет, находит и трепетно держит в себе сокровенные думы былого. «Когда-то мечтал,— думает он,— стать большим человеком, чтоб не я завидовал людям, а люди мне. Интересно, какой я теперь? Тот ли, кем хотелось быть в детстве, или маленько не тот?»

Над логами и поймой красавицы Тóлшми нависают толпы туманов. Пахнет соломой, отавой и дымом. Вечер устал, опустил сумеречные крылья, осторожно садится на землю. Идут Катеринины, маленький и большой, к своему родному порогу.

\* \* \*

Зеленая волглая тишина. Падают легкие листья. И вдруг в листопадную тишину, будто длинный серебряный нож, вонзается звук пионерского горна. По прогону, бегущему подле сжатого поля, идет Яков Иванович Холмогоров.

Перед самой деревней пастух прячет горн под борт пиджака. Из-за этого горна были не раз неприятные разговоры. И секретарь сельсовета, и учитель начальной школы, и даже инспектор из района пеняли ему, что он подрывает авторитет педагогов. Яков Иванович защищался:

— Ничего я не подрываю. Я гаркаю-то в лесу. Кто окромя скотины меня услышит?

— Мало ли кто,— отвечали ему,— многие могут слышать и слух после этого нежелательный распусть.

Пастух после этаких назиданий обычно нервничал и серчал:

— А мне от этого хуже не будет!

Его упрекали:

— Надо думать не только о себе. Педагогам краснеть за тебя придется. А хорошо ли до этого допускать? Сдай, Яков Иванович, инструмент. Тебе лучше будет.

— Как бы не эдак?! — упрямылся Холмогоров. — Мне с ним ловчей собирать стадо в кучу. Такоськое дело. Не сдам, да и все.

Ему обещали:

— Придется тогда общественность попросить, чтобы она на тебя повлияла.

Пастух усмехался:

— Коли общественность струмент заберет, дак пущай она и пасет моих холмогоров.

— Как это так?

— А так,— объяснял пастух,— коровы мои на другие струменты ухом не правят. Им этот подай. Привычка. Дело такоськое...

От него отступались, на него махали рукой. А Холмогорову это и надо. Знай кличет стадо звуками горна. Только кличет уже осторожно, с оглядкой: нет ли вблизи людей, умеющих делать запреты.

С оттопыренным пиджаком, под которым покоится горн, подходит Яков Иванович к ферме. Вслед за ним, сыто качая боками, ступают коровы. Доярки в голос:

— Где пас-то сегодня?

— На Замоських полях! — говорит Холмогоров и, сняв зимнюю шапку, стирает ею с лысины пот.

\* \* \*

Возле клуба покойно бормочет автобус. Слышен провизг гармошки. В дверцу, тесня друг друга, с прибаутками, хохотком, влезают девчата и парни. Среди них — счетовод Селиванов. Лицо белое даже в потемках, и на нем выражение трудной заботы. Мотор заревел, и автобус, сверкнув лучами, поспешил в сторону Соловьева.



Через час он прибует туда, подкатив к сельскому Дому культуры, где лектор-общественник Селиванов, пройдя под взорами зрителей зал, привычно взойдет на покрытую синим сукном трибуну и, откашлявшись в белый кулак, шелестнет листами блокнота. Так начнется торжественный вечер, в котором будут и лекция по проблемам Нечерноземья, и концерт с коротким спектаклем, и, конечно, танцы под радиолу.

В воздухе веет осенним. Недвижимо и прохладно. Небо густо чернеет, и в нем, словно зерна пшеницы, проступают яркие звезды. Притихла в подворьях скотина. Проулки безлюдны. Кто под крышей родного дома, кто — за Внуковым, на гумне, где идет сейчас фильм, а потом начнутся танцы и пляски. Лишь один бригадир Попов, в голове которого сто забот и сто планов, ходит с плоским фонариком от одной калитки к другой. Назначает на завтра наряды.

А в это время на внуковское гумно, где в самом разгаре веселье, заглянул председатель ревизионной комиссии Осовской, человек осторожный и строгий, привыкший все контролировать и проверять. Вызвал Зайцева за ворота и сурово спросил:

— Ты что вытворяешь? Это же знаешь, чем пахнет? Это же пахнет плохими последствиями.

Игорь Иванович изумился:

— Я как лучше хотел. Ругают в районе, что план по сбору не выполняю. Да и как его выполнить? Кабы клуб-то стоял, где гумно. А то вон на отшибе у всех деревушек.

Осовского это не занимало. Его занимало другое: в колхозе случилось сверхсамовольное, и надо это скорей прекратить.

Голосом, не обещающим ничего хорошего, он недовольно спросил:

— И что из того?

Кинемеханик сказал:

— А то, что приходится думать, как это надо переменить.

Осовской невесело усмехнулся:

— Каков получается результат?

Глаза Зайцева заблестели:

— Видите сами. Сегодня не люди в клуб, а клуб к людям явился!

— Чтобы это было в последний раз!

— А если в районе одобрят, как местную инициативу? Осовской даже несколько растерялся и рассеянно пробубнил:

— Не уверен. Не знаю. Впрочем, сами смотрите. Не мне отвечать, а вам...— И исчез, размываясь в проулке...

Скрипят колеса велосипеда. Нащупывая глазами тропинку, Зайцев спешит к своему пятистенку. У него бодрое настроение. Затея с гумном удалась. Фильм прошел как никогда. Зрителей было впятеро больше, чем собиралось в обычные дни. И понятно, в чем дело. Где клуб стоит, поблизости там одна лишь деревня, а где гумно — целых четыре. Киномеханику по душе, что после картины сельчане под наигрыш хромки устроили перепляс. Любо-дорого посмотреть! Плясали цыганочку, русского, ланчик и даже забытую шестеру. А сколько было частушек! Одно беспокоит Игоря: как отнесутся к его затее в районе? Он и сам пока не поймет: хорошее сделал или плохое?

Мчится Игорь Иванович по слепо белеющей тропке. На душе и весело, и тревожно. Вечер все-таки удался!

\* \* \*

Поздний сентябрьский вечер. Те, кто умаялся за день, теперь отдыхают под кровом родной избы, в тепле и свете. Почти все избы в Великом Дворе из двух половин: просторной кухни и узкой горенки-боковушки. В кухне устьем к окну — русская печь, полати, дверца, ведущая в голбец, возлестенные лавки и коник, в передних углах на полочке истемна-золотая икона, слева на полированном столике телевизор. Современное с древним бытуют так, словно спорят между собой: у кого жизнь длиннее и кто первый закончит свой век?

Много есть в Великом Дворе любопытных старушек, чья жизнь, как тропинка в еловом сузёме, петлиста, длинна и полна поворотами, взлетами и нырками. Большинство из них малограмотны, привыкли о жизни судить по старому воспитанию, приметам и ворожке. Может, поэтому старые люди и помнят сказки, бывальщину и легенды, в которых обычно действуют нечистая сила и простоватый, неражий, но смелый и все побеждающий мужичок.

Вечерами, забравшись на печь, ведут между собой разговоры старушки и внуки. Одним интересно узнать обо всем, что бывает на свете, вторым — даже если они не знают — лестно поведать рассказ. Так рождаются новые сказки, закомóры-загадки и небылицы.

Любопытны особенно закомóры. Стоит, к примеру, бабушка у устья печи, орудует в жарких углях кочергой, а потом помелом замечает горячий пепел. Взглянет таинственно этак на внука и скажет ему:

— Царица-Клюковица по полю скакала, красно золото зобала. Пришел царь-Космач: «Бог помощь, царица-Клюковица, красно золото зобать!» Царица-Клюковица в ответ ему: «Молчи-ко, царь-Космач, и тебе то же будет!»

Или печет старушка на углях блины. Плеснет на сковороду жидкого теста и вдруг прискажет:

— Сунь да попарь да по плеши ударь!

Бригадир Степан Попов помнит услышанную им от покойного председателя колхоза Дмитрия Дмитриевича Слободина загадку про лен:

— Сам жилиной, ноги глиняны, голова в масле?

Мать Степана Людмила Ивановна знает много загадок про хозяйство крестьян, домашнюю живность, при-  
роду.

— Шел я краем Попова, нагляделся дива такого: головы пробиты, животы вспороты, — говорит она про ржаные снопы.

А вот про след от лаптей:

— В лес идет, клетку кладет, из лесу — перекладывает.

Или иносказание про лиственный лес:

— Зимой с седой бородой, летом с кудрявой головой, осенью — гол как сокол.

Осень и зима — благодатнейшая пора для проверки памяти, ума и смекалки. Подчас вместе с ребятами отгадывают лукавые вопросы их матери и отцы.

— Всем нужен, да не всякий делает? — вопрошает про хлеб пастух Холмогоров.

\* \* \*

А как бурно, богато и весело льются застольные разговоры, когда приезжают из города гости! Разговоры

самые разные. Обо всем, что трогает душу и ум. Как в городах с «продухтом»? Кто на какую должность и с большой ли зарплатой устроился? У кого были свадьбы? Кто развелся? Кто помер? Кто выстроил дом? Сколько ныне ягод в лесу? Какова в огороде картошка?

Приезд городского гостя выливается в праздник. Гость привозит с собой огурцов, яблок, пива в бутылках, белье, пары, ткани на платье. Увозит обыкновенно варенье из ягод, ведра соленых грибов, тарки меда, картошку... Иногда наберется в дорогу столько тарок, ведер, кулей, что заставляются ими полкузова автомашины.

У Катерининых в это лето особенно было людно. Сперва приезжал из Вологды брат Ивана Андрей с женой, тремя детьми и товарищем по работе. Потом в ягодный месяц гостил прибывший из Ярославля старослужащий Николай, приходившийся свояком Ивану. Затем из Москвы приезжала Иванова тетка. А там и Граня, Ивана сестра. Эта последняя гостя была самой необходимой.

До семнадцати лет жила Граня в Великом Дворе, для всех деревенских парней была сокровенной мечтой. Но никто не пришелся ей близко к сердцу. С Иваном была она откровенна:

— Я не работы на ферме боюсь,— говорила она,— я боюсь, что выйду здесь замуж. Выйду не по любви, а из страху, что в девках останусь, и весь мой век будет завешен...

Уехала Граня в мае, и с тех пор ее мать Нина Павловна стала какой-то забывчивой и пугливой.

— Заболела ты, мать,— говорил ей Иван,— поди к медичке. Лекарства хоть даст.

Нина Павловна возмущалась:

— Сиди, лекарства! Кумоха меня невзлюбила.

Иван, естественно, удивлен:

— Кумоха?

— А это тоска-домоседка. Она в каждой избе живет. Кого невзлюбит, вздышеньки уж не даст. Все время и будет из дому выгонять.

Иван расстроено вспоминал: «В самом деле, мать что ни вечер то куда-нибудь убегает. Хозяйство совсем запустила. В колхозе работает спустя рукава».

Пошел Катеринин к медичке. Стал совета просить. Но медичка лишь развела руками:

— Религиозное... Это по линии атенстов...

Иван, не мешкая, в этот же вечер явился к колхозному счетоводу: так, мол, и так, что теперь делать? Селиванов заулыбался:

— Я знаешь ли,—сказал, вдохновляясь,—я, пожалуй, могу. У меня идея родилась. Суеверных-то женщин у нас в деревнях не так уж и мало. А что, если в клубе я лекцию читаю?

Счетовод как сказал, так и сделал. На лекцию явились члены правления, комсомольцы, кое-кто из доярок, заведующий начальной школы и вместе с ним полностью третий класс. Но Нина Павловна на лекцию не пришла. Так что Ивану снова пришлось просить у людей советов.

Мать, разумеется, времени зря не теряла. Тоже искала советов. По одному из них, который дала суеверная Павла, пошла на конюшню, где, попоив трех коней из ведра, остатки воды, как ни трудно ей это было, приняла как целебное средство. Не подействовало нисколько. Возвратилась к Павле с вопросом:

— Вода-то не подсобила!

— Ох ты, куколка! — По тонким губам знахарки заюлил многоопытный хохоток.— Сколь раз воду-то от кобылок пила? Одинова?! Ну вот. Так и знала, что напáтрóшишь. А надобно три разка...

Еще дважды прикладывалась к ведру простодушно-доверчивая крестьянка. Попив и вытерев губы платком, спешила домой, где садилась за стол и ждала: будет ее кумоха выгонять или не будет? «Не должна бы,—думала,—все же пила не простую воду, а тайную...» Озираясь по сторонам, словно желая увидеть то, чего так боялась, Нина Павловна и лицом, и глазами, и сердцем чувствовала, как в нее заходила тоска. Тоска лежала везде — и на столе, и на стенах, и даже на лицах сына, невестки и внука, и была похожа она на волокнисто-серое колыханье, безглазо смотревшее на нее. Срывалась Нина Павловна с места, бежала знакомой тропинкой к Павле.

Сухой, горбатенькой Павле, всю жизнь избавлявшей людей от несчастий, но ни разу от них не избавившей, было приятно, когда приходили к ней на дом. Темный ум ее извлекал из заглухов памяти стародавние суеверия и приметы.

— Опять, говоришь, выгоняет?—улыбалась она, быстреохонько вспоминая еще один верный способ борьбы с кумохой.— Ладно, куколка, ладно. Сымай тогда свой

платок да наставь слушок-от на умное слово. Научу теперь, как кумоху прогнать на Першинское болото. Не печалуйся, вытурим и не пустим...

Долго слушала Нина Павловна. А потом в смутных сумерках вечеров приступала к самолечению. Три раза ходила вокруг избы с подержанным конским седлом, нашептывая не то с просьбой, не то с пригрозкой: «Уходи, кумоха, прочь, домоседка. Вон отседова, пока конским духом не отравило». Затем три ночи подряд спала, подложив под подушку конскую сбрую, стараясь увидеть сон, в котором бы кумоха, сверкая голыми пятками, удираала на Першинское болото. Но опять, как и прежде, ничего крестьянке не помогло. И тогда решилась на третье.

Была суббота. В просторе проулков и улиц, лаская крыши, плыл широкий солнечный свет. Зеленела трава. Все избы и пятистенки глядели окнами с косогора в синеву пескаринной реки. Один только дом Катерининых никуда не глядел. Окна его были завешаны одеялами, шальями и платками. Пришел из школы Сережа. Вздрыгнул, увидев крылечную дверь, на которой написано мелом: «Нинки дома нет». Прошел мальчик на цыпочках по сеням. Перед дверью на кухню остановился и вновь прочитал: «Нинки дома нет». Сердце его тряслось от предчувствия непоправимой утраты, когда он ступил за порог. Из кухни — дверь в комнату-боковушку. В третий раз прочитал эти три пугающих слова. «Умерла бабушка», — подумал с тоской и, зайдя в боковушку, увидел вдруг Нину Павловну, немо сидящую у окна.

— Бабк, это ты?! — крикнул от радости и тут же спросил: — А чего так сидишь?

Но бабушка промолчала. Раз десять, не меньше, спрашивал внучек, пока не стало ему страшновато. Расстерянно улыбаясь, побежал за матерью и отцом. Те пришли, прочитали все надписи, удивленно переглянулись.

— Что случилось? — спросили.

Но губы у Нины Павловны как на замке. Целый час добивались ответа. Наконец сын, не вытерпев, резко спросил:

— Сколько суток молчать-то будешь?

Рука матери шелохнулась, поднялась к торчавшей в льняных волосах гребенке, загнула один за другим три пальца. Это было невероятно. В собственном доме да чтобы кто-то не говорил?!

После долгих раздумий Иван догадливо вспомнил: стала мать тосковать и искать от тоски спасения с тех самых пор, как уехала в город Граня. «Съезжу-ко за сестрой,— решил Иван,— благо недалеко. Привезу. Пущай поживет недельку. Кумоха, глядишь, и задаст драпакá. Так-то, мать. Небось сразу развеселишься. Думай, что это тебе три надписи помогли да трое суток молчанки».

На четвертый день Нина Павловна заговорила, неохотно, правда, и скупно. А когда наступил ранний вечер, почуяла, как вновь к ее сердцу стала никнуть бродяжья тоска. «Опять к Павле бежать...» Не успела об этом подумать, как скрипнули петли и в дверь с чемоданом в руке вошла дочка Граня.

Пять дней прожила дочь в деревне, а потом, уехав, стала едва ли не раз в неделю писать бодрые письма. Нина Павловна посветлела глазами. Появилась охотка работать много, весело, быстро.

— Ну и где твоя кумоха? — спрашивал порою Иван.

Нина Павловна улыбалась, вспоминая покрытую травкой тропу к дому всезнающей Павлы:

— Ушла, видно, на Першинское болото. Там ей самое подходящее место...

\* \* \*

Прижимаются к окнам потемки. Стрекошет над печкой сверчок. Только что выключен телевизор, где шел приключенческий фильм. Сережа ложится спать. За столом — мать, сын и невестка. Обсуждают дела по хозяйству. Надо будет доделывать баню, которая строится третий год, но стоит все еще без тесовой крыши. Надо в простенке под окнами заменить гнилое бревно. Надо купить для Сережи костюмчик, так как старый стал мал. Тысячу разных «надо».

— Надо в город бычка сдать на мясо...— говорит Иван, и в эту минуту в его заботном лице, неторопливом движении рук, спокойной поглядке было что-то от давней породы крестьян, которые любят много работать, любят порядок в избе, уважают свою родню и все то, что ложится им близко к сердцу.

Раздаются в сенях шаги. Кто бы это? Отворяется дверь, и в желтой ковбойке, сбитых кирзовых сапогах

с белеющими носками заходит Степан. У Ивана сжимается сердце: он предчувствует просьбу, которой и надо бы отказать, да едва ли он сможет.

Бригадир упирается взглядом в Ивана, наставительно говорит:

— За сенцом бы, а, Ваня? Не скатаешь со мной? Ежли, конечно, тебе досуг?

Лицо у Ивана выражает досаду. Ощущая в себе неуверенность и смятение, он говорит:

— Завтра рано вставать...

Степан подмигивает ему:

— Можно и поздно. Все в нашей власти. Так что давай, не бойсь!

Они уходят, и вскоре под окнами раздается такой оглушительный треск, словно кто-то по бревнам раскатывал сени.

Трактор, щупая фарами путь, направляется к отводку, за которым тускло желтеет овсяное поле. На душе у Ивана не прибрано, смутно. Ему бы сейчас отдыхать. Полистать бы скопившуюся за месяц пачку газет. Посидеть бы один на один со своими думами на крылечке. Сходить бы к Ваське Полоротёнку за пушистым щенком, которого тот обещал на прошлой неделе. А тут поезжай куда-то за сеном.

Волокуши, прицепленные за шкворень, собирают дорожную пыль, скрежещут на твердом, как камень, суглинке. На траках подплясывают песчинки. Иван вздыхает. Лязг тракторных башмаков и скрежет полозьев ложатся на сердце чем-то гнетущим и беспокойным.

Проехали поле, осиновый перелесок, повернули к пойме реки. Всю дорогу Степан пытается развлекать забавными случаями из жизни. Но Иван, хотя и поддакивает ему, в суть рассказов совсем не вникает. Он думает о себе. О своем былом. О своем настоящем. Он видит себя в чередѣ вяло текущих, медленных дней чем-то вроде маленькой щепки, которой надо куда-то плыть, а куда, никто ему этого не укажет...

Приехали на поляну. На середине ее такой аккуратный и гладко причесанный стог, что даже трогать его неудобно. Навивая сено, Иван отвлекся от нудных дум. Он разогрелся, повеселел и стал так бойко пошвыривать сено, что Степан, стоявший столбом на возу, замахал на него руками:



— Полегче! Э-э! Полегче маленько!

В деревню вернулись часа через два. Воз поставили на дворе, против открытых поветей, где, приготовясь к приему сена, стояли Степановы мать и жена. Разгружали при свете фар. Половины не разгрузили, как послышался оклик:

— Степан Аверьянович!

Иван вздрогнул и разглядел приехавшую в колхоз две недели назад высокую практикантку, одетую в белый красивый плащ. Ах, как нежно забилося сердце! Будто встретил он ту невозможно-далекую, о которой всю жизнь мечтал и ни разу еще не видел. Он знал, что звать ее Машей, что она учится в Вологде в институте и что пробудет у них на практике с месяц. Не ведал Иван, о чем толковала она с бригадиром. Кидая пласты шуршащего сена, украдкой поглядывал на нее, принимая в себя ее боязливо-тонкие плечи, удлинненное худенькое лицо и большие глаза, в которых сияла слабая женская полуулыбка. Становилось Ивану робко и неуклюже. Он ощущал, как входила в него небывалая радость, которую он никому, наверное, не откроет.

Практикантка ушла, и Ивану стало спокойней, исчезло ненужное напряжение. На ум приходила Галина, его жена. Баба пригожая и характером, и лицом. Но нет в ней того, чтобы так его радостно волновало. И не было никогда.

После разгрузки Ивану хотелось бы сразу домой. Но сделать такое — значит настроить против себя Степана. Пришлось заходить.

На кухне накрытый стол. На нем обвятый облаком самовар. Водка в светлых бутылках. Блюдо вечерних щей. Мясо в плошке. Соленые грузди. На вышитом полотенце рыбки и оладьи. Умеют в Великом Дворе угощать тракториста.

Иван прикидывает в уме, что всего в деревне сорок четыре хозяйства. Значит, самое малое, сорок четыре раза придется ему садиться за стол и глушить стаканами водку. Иван приуныл. Бригадир, это заметя, весело подмигнул:

— Я ведь силом, Ванюха, пить тебя не неволю. Ежели хочешь, бери деньгами!

Иван так бы втайне себе и желал, но после Степанова предложения ему становится неудобно, и он поспешно

садится за стол. Без всякого тоста, за просто живешь, выпивает стакан. Потом и второй. Бригадир и третий уже наполняет, но Иван отстраняет стакан рукой:

— Не, не... Завтра, кажись, надо работать...

Пошатываясь, с гулко гудящею головой идет по стемнелым проулкам. «Опять нахлебался,— думает с грустью.— А опять отчего? Да опять оттого, что я тракторист и каждому нужен, как воздух. Может, с трактора-то сойти? В самом деле? Покуда не поздно. Ведь винолюбцем-то стать больно легко...» Но он понимает, что с трактора не сойдет. А если сойдет, то снова вскоре к нему вернется. Хорошо, когда человек решает однажды и делает, как решил. Иван же этого не умеет.

В избе такая чужая, такая нездешняя тишина, будто ее притащили сюда из самых глухих закоулков. С кровати встает Галина. В широком лице, хмурым взгляде, пальцах, шупающих бусы на шее, тот извечный бабь упрек, от которого портится настроение.

— Не все вино-то еще улакали?

— А что делать-то было? — оправдывается Иван.— Я не хотел...

Галина снова ложится в кровать. Ей завтра в четыре утра на ферму. Сонным голосом говорит:

— Матерь опять убежала к Павле.

— От кумохи?

— От нее...

Иван садится на лавку. Расстроен. Грудь его жалостью распирает. Жалостью к матери, которую снова надо спасать, а как это сделать, он совершенно не знает.

— За тобой из конторы еще прибегали,— сообщает, зевая, Галина.

— А что там стряслось?

— Приехал нарочный из района. Ты, говорят, на закладке силоса хорошо поработал. Почетную грамоту будут давать.

— А премии не сулили?

— Будет и премия,— обещает Галина,— только помешкать надо. Не все тебе сразу.

Иван доволен и этим. Душу его наполняет теплом. Он готов подождать и премии, и другой, еще более важной награды. Как знать?! В будущем все возможно. Он встанет и глядит в окно, за которым на переулках, заборах и крышах расположилась на отдых ночь.

Ночь над Великим Двором. Она ласкова и печальна, у нее разноцветные сны, в которых живут простые русские люди, и каждый из них со своей запредельной мечтой, болью, радостью и надеждой.

## Рябчики на завтрак

Андрей немного устал: третий час на ногах. Через плечо перекинут ремень, привязанный к ручке портфеля. В портфеле электробритва и купленные на скорую руку подарки матери и отцу. В поношенном сером пальто, шляпе с заломленными полями, очках и с усталой морщиной на лбу, Куницын сейчас походил на фельдшера медицинского пункта, который спешит на вызов к больному, боясь опоздать.

В декабре рано приходит вечер на землю. От лесу по снежным полям ползет подсиненная тень. Солнце торжественно и лениво опускается в ельник. Небо в том месте искрасна-бурое, словно топленое в русской печи молоко. Под небом, дымя голубыми столбами, стоит деревня Захаров Лог.

Минуло семь с половиной лет, как Андрей покинул деревню. Ему повезло. На Урале, куда пригласили его кореша по армейской службе, он устроился в «Леспроект», занимавшийся изысканием нижних складов, дорог и лесных поселков. Казалось, жизнь затолкала его в это красивое здание для того, чтобы он до конца своих дней продвигался по службе. Да и худо ли? Был таскальщиком рейки — стал инженером. И это еще не предел. На душе у Андрея было размягченно и спокойно, как у всякого человека, который заведомо знает, что ждут его впереди лишь приятные перемены. Как вдруг принесли ему это письмо — мятое-перемятое, все в клею и без марки. Понял Андрей, что письмо из деревни. Но кто написал? Об этом ни слова не сообщалось. А если и сообщалось, то трудно было установить, до того неряшлив был почерк. Многих слов Андрей разобрать не мог. Лишь

в конце письма разобрал несколько строк, из которых узнал, что мать у него «ослабла и остарела, а батя, хоть и здоров, но беспомощен, как дите».

Андрей сидел, навалиясь локтями на пикетажные книжки, и с тревогой в душе вспоминал родную деревню. И мать свою вспоминал, сидящую у окошка — улыбчиво-тихую, с сухонькими руками, в которых мелькают железные спицы и недовязанный серый чулок. И отец являлся на ум — крупнолицый и рослый, возвращающийся с работы в своей необъятно широкой фуфайке, пахнущей хлебом и табаком. «И все из-за этой учебы,— думал Андрей,— из-за нее не могу к старикам собраться. Шесть лет ухлопал на свой институт. Стал начальником полевого отряда, выбился, что называется, в люди, а вот родителей позабыл...»

Сердце Андрея заныло от мысли, что так далеко он от дома и отпуск использован целиком, а до другого отпуска ждать не менее года. «А если я отпрошусь за свой счет? Хотя бы дней на десяток?!» — приободрился Куницын и в этот же день заглянул в кабинет директора института.

Сергей Сергеевич Поликарпов, мужчина солидный, в годах, с сединой, рассыпанной, будто соль, по верху волос, сидел за столом с добродушным видом хорошо отдохнувшего человека, которому нравится делать приятное подчиненным. Выслушав просьбу Андрея, он участливо улыбнулся:

— Не то время, Андрюша, чтоб кататься по старикам. Дел непочатый край. Кроме того, тебе предстоит поехать в столичный «Гипролестранс». Поглядишь, как работают главные инженеры проектов, поучишься кое-чему.

— Для чего?— удивился Андрей.

— Чтоб готовился к должности главного инженера.

— Нашего института?— не понял Андрей.

— Нашего,— сказал Поликарпов и, нажав на кнопку, кивнул открывшей дверь секретарше:

— Машенька, будьте добры, устройте Куницу командировку...

Если бы не письмо, Андрей ехал бы в эту командировку как первый баловень института с тщеславной мыслью о том, что не кого-нибудь, а его выделили из всех. Ему, конечно, было приятно и лестно. Был простой инженер,

и вот без пяти минут — главный. А что это значит? Это прежде всего: отдельный, с двумя телефонами кабинет, зарплата на сто рублей выше и возможность раз в квартал бывать в больших городах. Но письмо растревляло эту приятность, и в душе Андрея зрели потерянность и вина.

...Для Андрея сегодняшний день был вторым, как он отправился в путь. В путь рискованно-самовольный, так как он, минуя Москву, где надлежало остаться, покупал билеты на Вологду, после — на Устье и вот теперь уже без билета шел по зимней дороге к Захарову Логу. Шел, успокаивая себя: «Только один вечерок. Только взгляну на родителей — и назад. Утром же и уеду. Командировка от этого не пострадает».

При виде родных посадов Андрей приубавил шаг, улыбнулся и стало ему как-то славно и безмятежно, как в далеком-далеком детстве, когда не надо заботиться ни о чем и нет тебе никаких неприятностей и волнений. Строгая синева горизонта, сумрак ближних дворов, кисти ягод, свисавшие с веток рябины, — все дышало здесь воздухом отчего края.

Не прошел Андрей и сотни шагов, как встал, точно его схватили за плечи. Но сзади не было никого, а впереди, в поперечном проулке, он разглядел высокого мужика и низенькую старушку. Старушка шла семенящим шажком и вела за батог мужика, который свободной рукой поддерживал коромысло с двумя деревянными кадцами по краям. Из кадец плескала вода.

Грудь у Андрея сдавило. Он понял, что здесь, на этой земле, без него случилось что-то нелепое, страшное, злое, чего поправить уже нельзя. «А если ошибся? Если это другие?» — возникла надежда. Но старушка в эту минуту повернула к хоромам с такой знакомой беседкой, с таким знакомым крыльцом. У Андрея скривило губы: «Мамка моя... А батя-то, батя...»

Андрей стоял, сжимая пальцами доски забора, и слушал, как в зашумевшей его голове вставали вопросы: «Что у отца с глазами? Почему не писали в письмах?»

Разжал Андрей онемевшие пальцы. Хмуро окинул ряды домов, не узнавая улицу детства. Совсем-совсем она стала другой. И окна в избах не те. И родители как чужие. И показалось ему, что он никогда здесь и не жил, что он ошибся, явившись сюда.

Он взошел на крыльцо, обмел голиком ботинки и, взяв с перил горстку снега, потер им виски. Дверь пустила его в тепло. Нестерпимо ярко брызнул включенный свет. Андрей зажмурился и сказал:

— Здравствуйте!

Отец, огромный и неуклюжий, в сто раз латанной гимнастерке, ватных штанах, тыча воздух руками, сделал к сыну беспомощный шаг, повалив при этом вверх ножками табуретку.

— Андрейко!

И мать бросилась к сыну, маленькая, сухая, обняла его и, искрясь глазами, заголосила:

— О-ё-ё, Дрюшенька! А мы-то ждали тебя! Так уж мы ждали! Чуяло сердце: далеко сосна, да веет родному лесу...

Андрей поставил портфель и, раздевшись, повесил пальто рядом с толстой фуфайкой, от которой пахло землей и навозом. Обежал глазами кадцы с водой, стол с зеленой салфеткой, засиженный мухами репродуктор и висевшего на ватных штанах отца беленького котенка.

— Ну и как живем-поживаем?— спросил, стараясь казаться веселым, хотя где-то под самым горлом стоял тоскливый вопрос: «Неужели отец нисколько не видит?»

— Да по-всякому, Дрюшенька!— ответила мать, кивая седой головой в сторону мужа.— Батьку, воно, на пенсию вывели, а я на колхозном дворе, все хожу за телками. По сто и боле в месяц-то получаем. Живем при деньгах. А ты тамо как? Не женивсе?

Вопрос для Андрея не из приятных. Расстегивая портфель, пробубнил:

— Женился, дак всяко бы написал.

— А пора бы, пора семейкой-то завестись.

— Все в лесу да в лесу, дак и некогда.

Мать улыбнулась:

— Чего в лисе-то, Дрюшенька? Чего делаешь-то там?

— Да все,— ответил Андрей,— я же писал. Просеки прорубаем, съёмки всякие, пикета́ж.

Ничего не поняв, но, почуяв, что сын при ответственном деле, старая предположила:

— Ишь она? Пикетаж? Тут небось плановитую голову надо.

Андрей вынимал из портфеля коробку конфет, полевой бинокль, лакированные черные туфли. Вынимая, задумчиво говорил:

— Учимся, мать. Без учебы нынче высоко не прыгнешь.

— Терпенье надо,— заметил отец.

А мать сложила руки на животе:

— Изломал небось всю голову от ученья. Молоденькой, а плешина на голове.

Андрей, краснея, подумал, что мать, наверное, нечто подобное скажет и про очки, потому их снял и спрятал в карман вельветовой куртки. Но мать, желая узнать все обстоятельно и подробно, спросила:

— Глядельчики-ти носишь давно?

— Нет, нет,— поспешил успокоить ее Андрей,— недавно, совсем, можно сказать, на днях.

— О-ё, Дрюшенька! Ты хоть сколько-нибудь да видишь. А батька-та твой...— Мать поежилась, замигала, и ее рябоватое, в мелких морщинках лицо как-то сразу остарело.— Не жалослив милушко-бог к нему оказавсе.

Держа в руке полевой бинокль, Андрей еще ниже склонился над стулом и исподлобья взглянул на отца. Отец стоял, опираясь одной рукой о приступок печи, второй — о выступ полатей. Был он прежним здоровяком — румяноскулый, русоволосый, брови опущены вниз, и сквозь них каменно и спокойно смотрели глаза.

— Чего со зреньем-то, батя? — тихо спросил Андрей.

— Да на работе оставил.

— Хоть ьмного-то видишь?

— Кабы видел, разе таким бы был вялым.

Рука Андрея выпустила бинокль, и тот стукнулся о сиденье стула.

— Чего это там? — улыбнулся отец.

— Это... Это бинокль. Помнишь, как ты хотел его. Зря, выходит, привез... Думал за рябчиками походим.

Отец пошарил рукой по подпечью. Нашел батог. Прошел с ним к окну. Посмотрел, будто зрячий, на тускло синевший прилесок.

— А что? И походим! — сказал с вызовом и бахвальством. — Я — мужик ремесловый! Для начала сброжу один. Рябков жалаешь на завтрак?

— Ну как? — растерялся Андрей.

— А так! Считай, что оне на столе!



Андрей с сомнением покачал головой: «С чего это он? Вроде еще не вынул...» Сунув бинокль в портфель, он уселся на лавку и грустно подумал: «Эх, батя, батя. Неужели ничем тебе не помочь?!»

Мать куда-то все убегала. Возвращалась назад с тарелками, кринками, сковородами. Отец топтался возле стола, выставя из горки стеклянные стопки.

За столом после двух полных стопок Андрей маленько подзахмелел. В потеплевшей от водки груди поднималась щемящая радость. Он снова взглянул на отца. Минуту назад, изучая его, он испытывал чувство, какое бывает при виде избитых людей. Теперь же он видел в отце обычного рослого мужика, каких он часто встречал где-нибудь на повале деревьев или разгрузке барж, спокойно-покладистых, умеющих много работать, непременно с большими руками и всегда с безотказной спиной, на которую можно валить даже то, что бывает ей не под силу. Выпив еще одну стопку, Андрей спросил:

— Что же все-таки у тебя со зрением?

— Андрюха! Чего об этом и говорить. Случайное дело.

— Случайное, да не больно,— вмешалась мать,— лезешь, куда другие не лезут. Вот и мучайся после того. О-ё-ё! Была в доме радость. А где-ка ноне она? С батожьем вдоль заборов бродяжит. Вот-ка где...— В голосе матери слышались отзвуки давнего горя, что однажды вошло в ее душу, да так с тех пор в душе и живет.

Отец тяжело навалился на стол:

— Говорить-то надо с понятием. Без понятия можно и поднаврать. Я, к примеру, другое скажу. Сам себе на радость никто не живет. Ни худой человек, ни хороший...

Андрей снисходительно улыбнулся. Отец у него все такой же. Раньше все искал правду да справедливость, а теперь еще и за радость взялся.

— Я, батя, кажется, с тобой не согласен. Ты сказал: сам себе на радость никто не живет. А разве жизнь у нас не на том стоит, чтобы радость себе создавать?

— Радость зависит не от тебя,— сказал отец убежденно,— от людей зависит она. Вот так-то, Андрейко. Послужи на людей, и они на тебя послужат. Вот в чем радость-то наша. А коли этого нет, дак и радости не бывало.

— А что же тогда бывало?— заспорил Андрей.— Если вот она, вот! Хотел ее — и схватил, и держу, как добычу, и никому ее, никому не отдам!

— Да какая к прахам это радость?! Это только блезир. Бойся, Андрюха, блезира. Он многих сбивал с пути. Лучше, Андрейко, служи на людей.

— Мелешь, старый, бог знает чего, — снова вмешалась мать. — Послужи на людей? Ты служил вои на Сапа Дианова, вот и живешь теперь доведенный.

Отец отклонился к стене, слегка обиженный и виноватый, на румянном лице улыбка:

— Доведенный — еще не порченный. Как-никак от меня есть и прок. Небось живу не натдátком. Колхоз, спасибо ему, заданьем не обделяет. Корзины плести — давай! Грабли делать — пожалуста! Могу и тяжелое! Летось вон кто для строительства клуба камни из берегу выворачивал? Я выворачивал! Мужики по троенке не могут, а я один! Силой-то я — как конь молодой! И сердце работает — у-ух! Работное сердце, хоть ставь в самолет вместо мотора.

— А все-таки что у тебя с глазами? — упрямо спросил Андрей.

— Э-э, чего там! — Отец погладил рукой по лицу. — Дело-то прошлое. Корчевал с Саном Диановым под общественный луг черный лес. Он с бульдозером, а я в помощь ему — где топориком, где просто рукой. Хорошо у нас шло. Только пни на сторону летели. А тут, возьми, у трактора-то, с одной стороны отвал и нарушься. Сано кепкой на пальчике вертит. Приварить, говорит, ничего не стоит, давай, поехали в мастерские. Прикатили туда. Нашли сварочный аппарат, защитную маску. А в маске по стеклышку трещинка — тонкая, тонкая, ровно кто обронил катушную нитку. Увидел Сано ее, говорит: «Надо поопасись». Я заругался: «Згузал?! Дай-ко сюда!» Приткнул электродик к железу. Видеть-то должен бы снопик огня, а я вместо него вижу белых зайчишек. Много их, много, и каждый заскакивает в глаза. Пока варил, насобирали их целую голову. Размышляю промежду дел, сейчас-де закончу и всех вас живешенько прогоню. Маску снял. Глянь?! А глаза-то мои не светлый полудень видят, а черную ночь... Вот какое, Андрейко, со мной приключение вышло. Ослеп я с того...

— И давно это было?

— Ну как... Шестой вроде год.

— Шестой? А я-то чего не знал? Чего в письмах-то не писали?

— Э-э, брат. Худое писать о худом, что батогом с похмелья по невинному лбу.

— Как это?

— А что расстраивать-то прежде? Не знал, и слава богу. Спокойнее хоть жил.

В груди у Андрея смешались в одно — жалость к отцу и страх за него, и стало ему по-мальчишечьи горько, он поднялся, растроганный и смущенный. Но отец, почуяв, видно, его волнение, сделал рукой тот коротенький жест, каким предлагают себя послушать.

— Ты, Андрейко, на нас не пеняй. Живем не хуже людей. А кое-кого и получше. Чего другие слепые не могут, то про нас не скажи. На непрожитый-то остаток, даром что нету глаз, а глядим и видим его и даже чуем в нем старикоськую нашу походку...

Отец долго еще говорил, и сын, слушая, проникался к нему сочувствием и заботой. А потом к Андрею явился вопрос: «Как же я завтра уеду? Чем объясню? Что я проездом, в командировке, и домой заглянул по пути? Нет, такое нельзя. Но что же? Что же другое?»

\* \* \*

Проснулся Андрей с чувством мрачного беспокойства, словно кого-то он обманул — и надо это скорее поправить. В закрытое занавеской окно просилось морозное утро. Из кухни плыл запах овсяных блинов. Одеваясь, Андрей прислушался к звукам. Никто не ходил, никто не гремел ухватами и чугунами. Лишь где-то над печкой тоскливо потрескивал бойкий сверчок, Андрей двинулся в кухню. Но там не было никого. Мать, наверное, на работе, обряжает своих телят. А отец? Заглянул Андрей за ситцевый полог, где стояла большая кровать — но та заправлена одеялом. Посмотрел с приступка на печь — на печи одни валенки да фуфайки.

Андрей накинул отцовский ватник, в котором тут же и утонул. Вышел в холодные сени:

— Ба-атя?

От крика зашевелилась висевшая под потолком морозная паутина. Открыл дверь на поветь. Удивился, увидев то, что можно увидеть в колхозной столярке: груда новых лопат, грабли в углу, белевшие тут и там косьевища, топорщища, две пары обитых лосиной шкурой охотничьих

лыж. Андрей поправил съезжавшую с плеч фуфайку: «Неужели все батя сделал? Да как это он? Ну надо ж...» Андрей покачал головой и с видом заботного мужика, которому дали задачу, а он не умеет ее решить, прошагал на крыльцо.

Утро разгоралось. На снежные огороды уверенно и уютно ложился заревой свет. На охлупнях бань перекликались вороны. Андрей вспомнил вчерашний вопрос. Было в вопросе что-то тревожное, нервное, и решить его надо было сейчас. В чью пользу решить? В пользу родителей или в свою? Андрей сжал пальцы, не замечая, что сжал их вместе со снегом, который белел на перилах крыльца. Он почувствовал, как сыновнее, жившее в нем всегда где-то рядышком с сердцем, стало медленно гаснуть и вдруг погасло совсем, и он ощутил в себе волевого, упорного человека, каким доводилось ему бывать, когда назревала необходимость или выдержать спор, или призвать кого-нибудь к дисциплине. И понял Андрей, понял бесповоротно, что оставаться в деревне больше ему нельзя, что пора собираться в дорогу, а перед этим дожидаться родителей и сказать: «Я приехал сюда не в отпуск. Уж вы извините меня, но вынужден попрощаться».

Он долго еще стоял на крыльце, как вдруг изумился, когда на тропе прогона увидел фигуру высокого мужика, который шел, хватаясь одной рукой за шаткие прясла, второй — опираясь о длинный бато́г. Шел с берестяным пестерем, настолько широкий, настолько большой, что, казалось, тесно было ему неж прясел. Андрей достал носовой платок и протер им очки. Но мужик продолжал идти, громко скрипя по свежему снегу. Андрей рассеянно улыбнулся. Где-то в дальних закрайках души шевельнулось растроганно-кроткое, молодое, и вспомнилось то позабытое чувство, которое так волновало его в мальчишках, когда навстречу ему, дыша богатырским здоровьем, шел с лесным гостинцем его синеглазый отец. И сейчас он шел в лохматой бараньей шапке, полушубке с кудрявым воротником, большеногий и большеликий. Андрей, путаясь в рукавах фуфайки, суматошно сбежал с крыльца:

— Батя?! Куда это ты ходил?

Отец снял пестерь и, откинув круглую крышку, вывалил в снег трех рябых, пахнувших хвоей и перьями птиц.

— За лесным мяском. За им самым, Андрейко. Али забыл, чего я тебе сулил?

— Не забыл. Но послушай! Ты бы мог запросто заблудиться?!

— Ну да?! — Щеки отца раздвинулись — он снисходительно улыбнулся. Кинув рябков в пестерь, махнул рукой в сторону свежего следа: — Прогончик-то эво какой! С него небось не собьется!

— А в лесу-то, в лесу-то как?

— А в лесу тоже дело не мудрое. Я ведь далеко-то не хожу. По визире, от елки к елке. Силки-ти под ними как раз и ставлю. Ночью поставил, а утром взял. — Голос отца был уютный и теплый. — Погоди, Андрейко. Мы с тобой еще много дел сочиним. И за зайцем в Демьяновский волок сбродим, и за рыбой на Печеньжицу. Поживешь-то ты у нас долго?

Вопрос был ласкающий, легкий, но он застал Андрея врасплох. Решенное минуту назад стало казаться невероятным.

Отец ждал, сняв с головы лохматую шапку и обивая ею с валенок снег. Андрей смотрел на него с удивлением и испугом и неожиданно понял, что если он заикнется сейчас об отъезде, то этим такую обиду отцу нанесет, от какой и зрячий-то человек оправился бы не скоро.

Обив с валенок снег, отец взвалил на плечо пестерь и, щупая батогом дорогу, прошел к столбяному крыльцу.

— Батя?! — окликнул Андрей.

Отец повернулся. В своей лохматой бараньей шапке и полушубке, занявшем почти полкрыльца, он был похож на забытого древнего человека, который, казалось, пришел из не нашего века, желая увидеть нынешний день, но увидеть его не сумел — и от этого стал бесконечно печален.

— Батя, — сказал Андрей, приближаясь, — а когда мы за зайцем пойдем в Демьяновский волок?

— Можно и завтра.

— А за рыбой на Печеньжицу?

— А уж это, сынок, сам решай. Отпуск-от долог ли у тебя?

— Долог, — ответил Андрей и помрачнел, вспоминая с досадой командировку, в которую он не уехал, за что и придется теперь отвечать.

Он поправил сползавшую с плеч фуфайку и огляделся по сторонам. Утро нежно сияло. От багрового гори-

зонта, от труб, выпускавших в небо синие сван дыма, с т заваленных снегом дворов наносило забытостью, холодом и печалью.

— А может, и не придется! — сказал вслух Андрей, и сердце его отчаянно застучало, как если бы он совершил поступок, которого от него никто никогда не ждал.

— Батя! — крикнул он, забежая на кухню. — Дай поскорее конверт!

Отец выдвинул ящик горки, подал конверт и, услышав скрип авторучки, спросил:

— Уж не письмо ли затеял?

— Ага, — улыбнулся Андрей и на чистом листе разборчивым почерком вывел:

*«Директору проектного ин-  
ститута С. С. Поликарпову  
от инженера А. И. Куницына*

### *Заявление*

*Прошу уволить меня по собственному...»*

Андрей услышал, как на его плечо мягко-мягко легла ладонь. И почувствовал он себя под этой ладонью каким-то маленьким, несерьезным.

— Не надо, — промолвил отец.

Авторучка выкатилась из пальцев. Андрей расширил глаза:

— Чего?

— Чую: обманываешь себя, — объяснил отец, — ведь не в отпуск ты к нам приехал.

Андрей встревоженно улыбнулся, поправил очки, и вдруг в груди у него затомилось и стало расти какое-то благородное, гордое чувство.

— Насовсем приехал, — сказал, стараясь, чтоб голос его звучал естественно и спокойно.

Андрей сидел, ощущая затылком дыхание бати, который стоял за его спиной и уверенным голосом говорил:

— Инженером стал — и вдруг навсегда в деревню? А чего, скажи, будешь делать? Нешто пойдешь с топором? Нет уж, Андрейко. Мы со старухой эдаку жертву не примем. Спасибо тебе, что приехал на нас поглядеть. И собирайсе-ко в путь-дорогу. По голосу слышу: не ты хозяин времени своему. Когда назад-то тебе? Сегодня?

— Сегодня,— сказал Андрей виновато.

— Пушай, коли так. Не твоя вина, что жизнь тебе выпала городская. Так, видно, написано на роду. А об нас не тужи. Наша жизнь не на нитке висит. Мы еще ой как много тропинок истопчем...

\* \* \*

Уходил Андрей с туго набитым портфелем. У колодца остановился. Попрощался со стариками и, закинув портфель за плечо, направился по дороге. У околицы обернулся и увидел сквозь стекла очков свою одряхлевшую мать, которая шла семенящим шажком и вела за батога отца. Отец ступал осторожно — большой и высокий, с русоволосой взлохмаченной головой, держа в свободной руке долговорсую шапку, которой время от времени гладил себя по лицу. «Плачет!» — дошло до Андрея, и грудь его встрепенулась на тяжком щемящем вздохе и налилась невозможной болью.

Было морозно. Солнце упряталось в облака. С рябиновой ветки скользнула на землю снежная струйка. Где-то на верхнем порядке скрипнула дверь. Скрипнула тонко-тонко, словно жалуясь на судьбу.

## Под малиновой мглой

Ревет, надрывается в хлевах скотина, стучит за фермой барабанка. Слышится чей-то голос:

— Васька, тебя седни куда Иннокентий направил? Городить Сенькину лягу?

— Нет.

— Тогда овин со мной подновлять?

— Нет.

— Ну что ты заладил нет да нет. Куда, спрашиваю?

— Как куда?! — весело отвечает Васька. — На твою повесть!

— Чего делать-то на моей повети?

— Как чего? Лонское сено уминать.

— Поди?!

— Да не один. С твоей Машуткой на пару...

Брань и хохот несутся по надворьям.

Солнышко еще не высунулось из-за сосновой опушки, а наплывы света, заполнив овсяное поле, широко выяснили деревню. Спешат колхозники. Кто куда.

Вышагивает к нарядной бригадир Иннокентий. Лицо распаренное, в розовых пятнах. Опять кого-то перематюгал.

Переключаясь с мужиками, несется на телеге Клавдия. У молодки ветром подол подняло, выказав выше колен крепкие белые ноги, а мужикам это и надо.

— Ой вы, дикие! — смеясь, ругается Клавдия. — Надсадиться бы вашим языкам!

Лошадь всхрапывает, косится влажным взглядом на бородатого мужика. Это дядя Паша, первый в деревне молчун и печальник. Дядя Паша проворно отпрыгивает в крапиву, разворачивает круче обычного грудь. А вдруг



Клавдия поглядит? Но Клавдия промчалась, не повернув головы. Влетела в проулок на скаку, так что искры колесами высекло,— только и видел ее.

Дядя Паша шагает на Виселку, где будет косить пойменный луг. Трава там вымахала густая, рослая, в золотом переливе лютика.

Идет дядя Паша по ивняковому мелкокустью. Слушает, как посвистывают овсянки да ухает белая куропатка. На сердце не то томление, не то тоска. «Жениться бы, да на справной сугревушке»,— сколько лет уж, пожалуй, тридцать, тайно мечтает об этом. Девицы теперь не в счет. Никто не позарится: седой волос в бороде. Мечтает дядя Паша о вдовах и вековухах, выбирая мысленно ту, которая была бы самостоятельна, работаща и, самое главное, не любопытна до его прежней жизни.

В последнее время не выходит у него из головы Клавдия. Уж больно она добра на слово, пригожа собой и не обидчива. «Вот бабенка так уж бабенка! В работу влипнет — токо держись. С ней бы жизнь-то свою направить, — думает дядя Паша. — Однако посмею ли я? Не посмею, поди-ко, заговорить про такое дело. Стыд-ба-тюшка заел, Заел окончательно...»

\* \* \*

Стыд преследует дядю Пашу всю жизнь. С детства причиной стыда его был чернеющий по всему животу родимец. «Чернопупик»,— называла его бабушка. Называла так, когда он отбивался от рук. И у маленького Павлуни это слово обрывало дыхание. Из-за него он ненавидел свою бабуку. Но чтобы она не обронила нехорошее слово при ком-нибудь постороннем, старался угодить ей, где надо и где не надо.

Особенно обидно было в летнюю пору. Все сорванцы как сорванцы — купались, загорали, носились по берегу нагишом. А он, скрывая свое мальчишечье горе, бежал туда, где не было ни реки, ни солнышка и никого.

Не повезло Павлу и в парнях: его признали негодным к военной службе. Незадолго до призыва он ходил за утками на Тихонины протоки. Целую ночь просидел в волглom ельнике, а когда засочился рассвет, решил перезарядить ружье, чтобы било наверняка. Вставил патрон наспех. Заклинило. А в этот момент вспорхнул па

воде селезень. Расклинивая ружье, Павел не рассчитал: патрон взорвался и разворотил вместе с затвором ладонь.

Все в деревне решили, что сделал он это умышленно, чтоб на службу не идти. Попытался рассказать, как на деле было — никто не поверил: знаем, мол, не первый год от людей шарахаешься.

И дядя Паша один из всех мужиков на войне не был: не взяли из-за этой покалеченной ладони.

Так и жил он, недоверчивый, молчаливый и тихий, пугаясь мыслей о собственной свадьбе и собственных детях.

Нелюдим был. Даже работал всегда в одиночку, на отставе от других. Но траву ли косить, пни ли на делянке корчевать или заплотки ставить — в любом деле был на голову выше всех. Председатель Василий Васильевич Мальцев, человек принципиальный и вечно чем-то встревоженный, ценил его за эту двужильную хватку, за то, что дядя Паша был безотказен — будь то невыгодная, грязная или даже опасная для здоровья работа. Он мог сутками не выпускать из рук ножа, которым снимал шкуры подошедших от ящура коров, мог, натянув поглубже кепку, в холодных струях дождя перёделявать крышу телятника, что накануне сколачивала бригада халтурщиков.

— Поболе бы таких работников,— мечтал вслух председатель, все чаще и чаще ставя дядю Пашу в пример. И люди вроде бы подороже к нему стали. Казалось, что простили ему искалеченную ладонь и пугающую молчаливость. Почувствовав это, он начал серьезнее задумываться о сватовстве. Старухе-матери, день и ночь коротавшей на печи и уже не чаявшей, что ее сын когда-либо приведет в дом сноху, нет-нет да и открывал:

— Пожалуй, маманя, и жениться надо.

— И правда, Пашутка, пора бы, — глухо отзывалась мать, — на пятьдесят ведь скоро обернет.

\* \* \*

И вот сегодня, увидав Клавдию, дядя Паша вновь разволновался. «Хорошо-то бы как было,— мечтал он, обшаркивая косой ярко-зеленую гривку,— уж тут-то бы я показал себя. Старанье есть, хитра не надо. Де-

нежек бы скопил на застолье. Шикуй токо — хоть вся улица! Не поскуплюсь! А потом угол бы новый ввел. В старой-то избе не дело жить. Поставил бы из самой лучшей елочки. Не изба, а светлая б хоромина была — всем на удивленье! Лишь бы жизнь-то наконец верным боком повернулась».

Дядя Паша долго еще махал косьевищем, обходя речные рукава и заливчики. Потом, когда солнце затемнилось в зените, спустился к Виселке, умылся, перекусил ячневым каравашком и вынул из воды намокшие грабли.

Ныло в пояснице, однако отдыхать дядя Паша не стал. Вчерашняя кошенина широко разбросана, хотелось сгрести ее до потемок.

Грэби на пожне оставалось совсем пустяки, когда из-за березового перелеска выскочил на бурой кобылке председатель колхоза. Он поставил лошадь возле стожар и, подойдя к дяде Паше, протянул ему руку. Потом закурил папиросу и только тогда произнес:

— Ничего не поделаешь. Надо, надо...

Председатель всегда начинал непонятно, когда подзревал, что могут его послушаться. А сейчас он приехал к дяде Паше, чтобы договориться насчет одного шекотливого дела, и не знал, как сказать о нем мужику.

Беспокоила Мальцева канитель с сенокосом. Прошлым летом колхозники сумели ухватить для себя погожие июльские дни, а для колхоза оставили августовские, с затяжными дождями и еле греющим солнцем. Из-за этого в колхозных стогах сено оказалось почерневшее, жесткое. Да и мало его заготовили, едва хватило до майской ростепели. Обо всем об этом прознали и даже в районной газете напечатали фельетон, в главных героях которого ходил сам председатель. Так что ныне Василий Васильевич не имел никакого расчета давать колхозникам былую поблажку. Всем и каждому говорил: «Только попробуй кто для себя заготовить, пока колхозный сенокос не окончим. Отберу и заприходу сено как колхозное!»

— Чего надо-то, Василий Васильевич? — несмело спросил дядя Паша.

Мальцев немного повеселел:

— На тебя лишь и надеюсь. Ты лучше кого другого знаешь, где какая пустовинка спряталась. Чувствую, хоть

и дал запрет, а людишки все одно начнут самовольничать. Вот ты бы и подсмотрел. Уличим одного-двух — остальные небось задумаются.

Дядя Паша растерянно заморгал. Ему было и лестно и жутко. Лестно оттого, что сам Василий Васильевич возлагает на него надежду. Жутко же было от предчувствия, что все это может кончиться худо. Сердце дяди Паши охватила тревога.

— Право, не знаю, Василий Васильевич, и так на меня не мило поглядывают...

— А тебя и знать никто не будет,— улыбнулся председатель.— Ты только заприметь и дай мне знать. Остальное я сам улажу.

Чувствовал себя дядя Паша прескверно. «Следить ну-ко за своими. Экий срам...» Однако и отказаться не смел. Слишком велика была в нем уважительность к председателю.

— Ладно, Василий Васильевич,— сказал он тихо,— только уж вы никому...

Солнце накаливало на желтевшие невдалеке сосны, когда дядя Паша запрягал косу и грабли в кустах.

Путались в бороде пауты. На Власьевом угоре грохотал почтовый трактор. «Господи, и почему я такой смиренный,— казнил себя дядя Паша.— Садись хоть кто на плечи — свезу в любую сторону...»

Где-то за овсяным полем пропылил грузовик. Крепкий бабий смех донесся до дяди Паши. Мысли оборвались. Из зеленых овсов на миг проглянуло полное лицо Клавдии. «Кабы се тут и в самом деле встретить»,— подумал он. Подумал и вновь представил, будто идет она по овсам. Идет навстречу ему, высокая, сильная, а на лице улыбка радости и покоя. «Для кого улыбка? — Сердце дяди Паши заволновалось.— Неуж для меня? Не век же обходить меня женскому глазу...» Дядя Паша вздохнул. Потом подумал, почему бы ему не сходить к Клавдии, и не когда-нибудь, а прямо сегодня. И если она согласится, то плевал он, плевал с самого крутого стога на предложение Мальцева. Пусть другого поищет.

\* \* \*

Клавдия в тот вечер стирала белье. Услышав в сенях шаги, выпрямилась над корытом. «Кто бы мог?» Последнего своего жениха — Миколку Проказенкова — вот уже

месяц минул, как проводила в город. Миколка по годам ровня ей, успел в армии отслужить, в лесопункте наработаться и даже немного побригадирить в колхозе. Миколка на прощанье клялся:

— Приеду, Клавка, вот погоди. Устроюсь в городе, фатеру подходящую получу и тебя к себе заберу.

Глядела Клавдия на водянистые в красных жилках глаза Миколки, в которых томилась тяжелая скука, и не верила ни одному слову. Чтоб не сердить, сказала:

— Хорошо, Миколушка, поезжай с богом. Я на тебя не в обиде...

Клавдия вспомнила, что приходил он к ней тогда в сером однобортном пиджаке. А сейчас в приоткрытую дверь вливался из сеней не серый, а черный пиджак, и не однобортный, а двубортный. Потом из-за косяка показалось сухое длинное лицо с бородой. «Дядя Паша», — упало сердце.

Дядя Паша невнятно поздоровался, постоял в неловой позе и, сказав: «Пожалуй, присяду», примостился на уголок лавки. Он был одет во все наилучшее. От высоких сапог, пиджака и рубахи пахло сундуковой залежалостью. Лицо дяди Паши, строгое, с глазами исподлобья и узко спадавшей на шею бородой, таило в себе мучившую его невысказанность.

От матушки-покоенки Клавдия слышала недобрые слова о дяде Паше. Но Клавдия не слишком верила им. Дядю Пашу она знала как тихого, работающего и нехитрого мужика.

Сейчас он сидел на краю лавки степенно, согнув широкую спину, не решаясь ни кашлянуть, ни шелохнуться. Лишь глаза, схоронившись под спутанными бровями, поблескивали, примечая каждое движение молодки. Он видел ее, широкобедрую, мягкую, с высокой сильной грудью, которой было тесно под верхом сарафана. И лицо ее видел, немного полноватое, с канавкой посреди подбородка и смутной синевой под глазами. Все это волновало дядю Пашу, мешало собраться с мыслями. Он провел ладонью по лицу, словно паутину с него снимая, и заговорил беспокойно и тихо:

— Пожалуй, Клавдия, скажу...

Клавдия слила с корыта мыльную пену, руки сполоснула и обернулась к гостю так, что плеснулся вокруг ног сарафан.

— Говори, дядя Паша, говори...

— Бобылем живу я, Клавдия. Так-то вот. А еще погляжу, дак и ты вроде моего...

— Ты, дядя Паша, недомолвками говоришь, тебя и понять-то нельзя.

— Пожалуй,— согласился дядя Паша и вдруг, сам от себя не ожидая, зачастил бесстрашно и бойко: — Поряжался я к тебе, Клавдия, не впервой. Пожалуй, и сказал бы это слово, да все как-то бессилье одолевало. А теперь скажу, коль пришел. Согласилась бы только. Эх, господи-батюшко, какая бы жизнь пошла. Пятистенок бы новый справили, овечек бы завели. Каталась бы ты у меня, как сыр в масле. И детишки бы под присмотром были. Каждому купил бы по обуткам, по костюму, а может, по плашику.

Дяди Пашины слова разбередили душу Клавдии. Ну кто она есть? Девка — не девка, вдова — не вдова. Одногодки ее — одна за другой замуж повыскакивали, а ей приходится ждать. Чего и кого?

Рано, очень рано изломалась у Клавдии правильная жизнь. Гуляя, она не имела привычки задумываться над будущим. Была она слишком доверчивой: стоило дружку намекнуть о совместной жизни, как она уже верила в его постоянство. Дружок же, оказывалось, жениться на Клавке и не собирался.

Клавдия не огорчалась, если ухажер, увидясь с ней днем, проходил мимо, не отвечая на улыбку и не здороваясь. Не маленькая она, чтоб обижаться. Пусть не приветствует, лишь бы дом ее не обходил стороной. Где, где, а уж в собственной-то избе она живехонько избавит его от всяких там стеснений и неудобств.

Огорчалась Клавдия, лишь когда примечала в глазах ухажера ледок. И смотрит вроде бы на нее с улыбкой, и говорит вежливо, а в глазах — дума чужая, дальняя, совсем-совсем не касавшаяся ее. Старалась молодка, как могла, чтоб растопить этот ледок: и брагу овсяную варила, и водочки покупала, и обнимала слаще прежнего. Но ничто не помогало, дружок уходил от Клавдии навсегда.

Долгие недели терзала молодку ревнивая тоска. Видела она, как бывший ее любовник с другой прохаживается. Хотела бы Клавдия собственной рукой рушить такие прогулки. Да только какой от этого прок? Бросая ревнические взоры на невсстившуюся девицу, спрашивала

себя: чем же все-таки взяла ее супротивница? Лицом — едва ли, характером — тем более. Пристойностью? Сникала Клавдия всякий раз перед этим жутковатым вопросом. Ответ был, бесспорно, не в ее пользу. Супротивница, как правило, была беспорочна и чиста. А она? Клавдия грустно вздыхала, и белая ее шея, словно подламываясь, опускала на грудь красивую голову.

Такая уж, видно, ее доля: оставаться на положении молодки с тремя хвостиками-сынками, которым по прихоти судьбы дано вырасти в безотцовстве.

Сынки Клавдию от работы не отвлекали. Росли они закаленными—все лето босиком. К нянькам они не приучены: за младшеньким обычно приглядывал старший. Часто Клавдия садила всех троих на телегу да так целый день и разъезжала с ними по тряским ухабинам и колеям.

— Что-й эт ты, Клавушка? Пареньков-то истрясешь?! — говорили ей сердобольные старушки.

И Клавдия улыбалась, радуясь, что ее сынков пожалели. Сама она тоже жалела своих сыночков. Все-таки без отца... И не могла хотя бы поэтому не питать слабой надежды, когда дверь избы отворялась и на порог вступал тот, кого она ждала и не ждала: «А вдруг да...» И хотя понимала, что в жизни так едва ли бывает, мысль свою о хозяине дома, хозяине работающем, ласковом до детей, берегла при себе, боясь с ней расстаться, ибо знала, без мысли этой пусто у нее станет на сердце, пусто, как на осеннем погосте.

Клавдия сидела против дяди Паши на стуле, тихая и застенчивая. Никто еще ей таких слов не говаривал. «Неужели судьба?» — думала она.

— Дядя Паша, нешто бы ты меня взял?

— А чего? Возьму, дружно бы зажили. Небось не усчитывал бы тебя ни в чем.

В больших Клавдиных глазах лучилось изумление. Перед ней открывалось мужицкое сердце. Такого еще не случалось при ее положении. И хотя в душе нарастал протест, и сердце нашептывало, что дядя Паша ей неровня, умом Клавдия прикидывала: другого подобного случая она вряд ли дождется. И уж совсем не главным стало казаться ей, что дядя Паша старше ее на двадцать лет, что он не в меру молчалив и людей сторонится... Хотелось, давно Клавдии хотелось, чтоб и у нее было, как у всех баб. Чтоб мужским духом веяло в избу: куревом,

порою хмельным угарцем, а то и незлобивым матерком. Все лучше, чем так-то.

— Ты, дядя Паша, налетел, как с ветром, и одуматься не даешь...

— Да я что... Я не тороплю.

— А почему ты, дядя Паша, бородку носишь? — спросила вдруг Клавдия.

— А-а, эт я так, — смутился дядя Паша, — уж и сам не пойму: все на работу да на работу мысль-то свою настраиваешь, дак тут вовсе и недосуг о бритье-то вспомнить. А теперь, коли надо, пожалуй, состригу. Не затяжелит...

Клавдия смотрела на широкое во лбу и узкое в подбородке лицо дяди Паши и беспокойно думала: почему все-таки его избегают женщины? Вон ведь какой мужичище! Жила на жиле вьется. А если бы еще снял бороду! Язык бы не повернулся называть дядей Пашей. Паша просто, да и все, а то и Павел, а еще лучше Павел Павлович.

Клавдия не хотела его обидеть, просто — не могла допустить, чтоб он тайл про себя какую-то недомолвку, поэтому спросила опять:

— Павел Павлович, ты мне скажи: людей чего сторонисься и люди тебя? Почему?

Спина у дяди Паши резко согнулась, изуродованная на охоте рука свалилась с колена. Избегая взгляда Клавдии, он встал и, не сказав ни слова, вышел на волю.

По грязно-серому небу ползли черные тучи. Ползли медленно и лениво. Дядя Паша шел проулками, сцепив за спиною узловатые руки. Остановился под качелями. Раньше никогда не примечал их страшенную высоту, а теперь вот приметил. Приметил толстые, с подпорками, столбы, перекладину с оборванной веревкой.

«Что ей, про бабкино прозвище рассказать и как на войну не взяли? Сумлеваюсь, чтобы поверила... — Дядя Паша покрутил пальцами бороду, задышал тяжело и часто. Он впервые думал так трудно. — А може, поверила бы?»

Едва отворил в избу дверь, как мать поняла: худо кончился разговор сына с Клавдией.

Дядя Паша присел, опустив ладони меж колен. Потом подошел к сундуку, сложил туда пиджак и рубаху. Сапоги тоже снял. Вместо них обул лапти.



В деревне дядя Паша был единственный, кто ходил в лаптях. Школьники и наезжавшие из городов отпускники обычно подсмеивались над ним. Но что они понимали? Знали бы, как мягко и легко ноге, особенно когда идешь кочковатой пожней.

Вспомнив разговор с председателем, дядя Паша переоделся во все плохое.

— Куда? Очувствуйся, господь с тобой. Не поспавши-то... — поплыл с печи глуховатый голос.

Дядя Паша ничего не ответил. Ступил за порог, поглядел на прорезавшиеся в черноте неба звезды и пошагал к Сенькиной ляге.

\* \* \*

Он шел, утонув по плечи в туманных волокнах. Шел быстрым, отчаянным шагом, точно дело, которое ожидало его впереди, было теперь наиглавнейшим. Он почему-то был уверен, что председательский запрет будет нарушен именно в эту ночь.

В Сенькиной ляге, сразу же за осочным болотцем, теснились ивняки. Они петляли по пожням неровно, то широко раздаваясь в бока, то узко склиниваясь. Принагнув отсыревшие ветви, дядя Паша взгляделся в туман. Никого.

Он выбрался на бестравный суходол и стал вслушиваться в тишину. И вдруг правее от него зачастил по косе точильный брус. Зачастил весело, серебряно звеня и тая.

Дядя Паша заторопился. Смоченные в ляге лапти не чавкали и не скрипели. «Баба!» — удивился он, рассмотрев впереди женскую фигуру.

Женщина проложила прокосиво до конца поляны, опять поточила брусом, повернулась и пошла ему навстречу, разбрасывая косьевищем травяной вал. Дядя Паша совсем растерялся, когда понял, что это Клавдия!

Первое его желание было уйти. Уйти и забыть, что видел ее. Нет, о Клавдии он не может сказать председателю. Одна, без хозяина... И трое мальцов... И кому-кому, а ей все равно бы выделили покос, и, может быть, даже здесь, на Сенькиной ляге. Но только позднее бы выделили — вот баба украдкой ночами и надрывает себя.

У дяди Паши по всей груди разлилась мужицкая жалость. Захотелось немедленно подойти к Клавдии и от-

крыть ей свою изболевшую душу, рассказать, что он ни перед кем не виновен и грехов за ним никаких не было и нет. И почему такой нелюдимый, тоже поведать. «Может, поверила бы...»

И дяде Паше увиделось, как Клавдия ходит хозяйкой в его высоких новых хоромах — ласковая и добрая, с улыбкой, от которой светлеет по всей избе. «Чего это я стыжусь самого себя? Вот возьму да и подойду. Прямо сейчас подойду!»

Нога раздавила сочную дудку. Треснул сучок. Не под ним — в стороне, шагах в двадцати от него. А потом заплясал по железу точильный брус. Дядя Паша удивленно повернул голову. Бригадир Иннокентий?

Иннокентий, видно, только что пришел. Он стоял в распушенной белой рубаше, долговязый, с худым лицом, на котором резко выделялся длинный хрящеватый нос. Бригадир бросил косу в траву и брус туда бросил.

— Павел Павлович! А ты чего тут? Ну-ко, постой! — Бригадир подошел к нему. Глаза вострее ножей, достают до самого сердца. — Все понятно... Ей, Клавдия! — крикнул. — Иди-ко сюды! Уполномоченный ждет! Торопись!

Испуганной быстрой поступью подошла Клавдия. Увидела грудь в грудь стоявших Иннокентия и дядю Пашу, всхлипнула и отвернулась.

— Чернопупик! Молчун! Самострел! — гремел бригадирский голос, в котором калился презрительный гнев.

Дядя Паша стоял, сгорбленный и вспотевший. Ему хотелось криком кричать, что он ни при чем, что председатель его принудил, но язык не слушался — как онемел.

Косить Иннокентий с Клавдией больше не стали. Ушли домой. А дядя Паша остался один среди волглых лугов и кустарников Сенькиной ляги.

Он ничего не сказал председателю о полуночных косках. Но бригадир Иннокентий на следующий день под вечер на двух телегах привез непросушенное сено, свое и Клавдии, к силосной яме. Проезжая мимо избы дяди Паши, остановился, сердито бросил:

— Ей, сыщик! Кого седни пойдешь выслежать?

Дядя Паша, сидевший возле окна с газетой, вздрогнул и, потерянно улыбнувшись, почувствовал, как в душу его вошло отчаянье. Понял он, что это новое обидное слово приклеится к нему, невезучему, надолго-надолго, а может, на целую жизнь.

Дядя Паша открыл в огород калитку, прошел за дальние гряды и, усевшись в сурепицу, сильно рванул за кончик бородки.

Над ботвой, бурно вспоров воздух, взлетела стая синиц. Дядя Паша глянул им вслед и внезапно услышал:

— Мам, кие комарики-ти большие!

— Это, Миша, не комарики. Пóточки это, чивки. Ишь как они чивкают: чив, чив.

Дядя Паша почувствовал, как сердце его жарко забилось. Он поднялся и быстро подбежал бороздой к забору. Так и есть! На телеге, которую вез мохноногий старенький Орлик, стояла Клавдия. Рядом с ней, цепляясь ручонками за подол, сидел ее средненький сын. Старший, видно, дома остался: нянчится с младшим. А этот вот едет куда-то с ней. «Мне бы вот эдак, — подумал с волнением дядя Паша. — Мне бы эдак возле нее. Да всю-то бы жизни! А може, еще не поздно... Може, еще обойдется...»

— Кла-а-ав, — позвал дядя Паша.

Должна бы услышать. Должна.

Но Клавдия проехала мимо, не повернув головы, высокая, статная, с развевающимся подолом.

Дядя Паша взглянул на разлившуюся над охлупнями крыш малиновую мглу заката, вздохнул и устало поплелся к дому. Где-то на верхнем порядке прогрохотала колодезная цепь, взвизгнула дужка ведра. От конюшни с радостным ржанием протопали кони. Потом все стихло, все замерло. В небе проклюнулись бледные звезды. Запахло лебедой и зеленым сеном. Огромная тишина надвигалась на деревню.

Экспедитор Галина Вострова уже не помнит, который раз едет с грузом печеного хлеба, крупы, вина и рыбных консервов по леспромхозовской УЖД. Глаза у нее большие, с радостной искрой, но лицо некрасивое, крупное. Ей уже двадцать четыре года, а жениха как не было, так и нет. В поездки эти она отправляется с тайной надеждой: а вдруг ей встретится тот, кому она будет мила, кто однажды сядет рядышком с ней, улыбнется, возьмет ее руки и спросит: «А можно завтра тебя увидеть?»

«Тук-ту, тук-ту», — перестукивают колеса. Галина сидит в пассажирском вагоне. Народу сегодня мало: девочка в длинной, до самых коленок фуфайке, памятый, невыспавшийся мужик, командировочный человек с коробочкой крохотных шахмат и еще присогнувшийся около печки пухленький, седенький старичок. Печка, как зверь, огорожена клеткой, железные прутья которой мелко трясутся и дребезжат. Старичок швыряет в топку дрова.

За окном апрельский пейзаж. Вдоль полотна — маслянисто-темные полосы снега. Из сугробов торчат прошлогодние стебли малины. Хвойный лес сменяется перелеском, перелесок — березняком, меж стволами которого прибрано и уютно, словно кто-то хозяйственный и опрятный наводил здесь воскресную чистоту.

Вот и первая остановка. Сцепщик вагонов, здоровый малый в расстегнутом кителе речника и белой бараньей шапке, спешит к висящему на сосне телефону спросить у диспетчера: занят ли путь? Спросил — и уже несется обратно, махая лохматой шапкой:

— Давай до Двадцать девятого! Там переждем!

Тонкий свисток. Скорготание. Лязг. От трубы относит косым тепловозным дымком.

Солнечный свет проливается в окна, играя на спинках диванов, глазах и лицах людей. Галине неловко сидеть без дела. Забыла взять книгу и вот скучает. А ехать сто двадцать два километра, до самого дальнего лесопункта. Сейчас без пятнадцати десять. Обратно, если аварий не будет, вернутся где-то после семи. Галина глядит на помятого мужика, который дремлет с дымящейся сигаретой и всем своим видом как бы безрадостно говорит: «Ничего-то сегодня не будет. Все то же, что было и раньше, а может, еще и скучнее». Отвернувшись Галина от мужика. Переводит глаза на девочку в длинной фуфайке. Лицо у девочки в напряжении, гладкий лоб исказила морщинка, словно она спешит заглянуть в непонятный завтрашний день, который ей принесет какое-то облегчение. «Чего-нибудь дома случилось»,— вздыхает Галина и вспоминает то время, когда и она торопила завтрашний день, потому что сегодняшней был переполнен слезами вечно испуганной мамы и бранью вечно хмельного отца. Теперь никого у нее не осталось: мать умерла, а отец уехал в другой леспромхоз. Давно это было, лет восемь назад, но душа нет-нет да и затоскует, проливая сиротскую жалость не только к себе, но и к тем, кто, как эта девочка в длинной фуфайке, вдруг напомним ей детство и маму. Это раньше, когда Галина еще не привыкла к потере, сердце ее неутешно болело, сейчас же оно лишь легонечко ноет, все время подсказывая о том, что она одна, а одной в этом слишком огромном мире так смутенно, так неуютно.

Галина устала сидеть. Чтоб поразмяться, проходит к другому концу вагона. Слышит, как шепчет ей в спину пухленький старичок и шепчет, видимо, шахматисту:

— Налитая какая! Капрон трещит на ногах!

Галине и стыдно, и хорошо. В замечании этом слышит она ту греховную скрытую страсть, что горячо будоражит мужчину при виде здоровой радостной девки, которой вольно и посмотреть блуждающим взглядом, и обещающе улыбнуться, и даже дать надежду на скорую встречу наедине. Не так уж много было подобных встреч у Галины. Но все же были они, и после каждой из них

она ощущала себя какой-то растроченной, виноватой, выброшенной из жизни на многие, многие дни.

Впереди спокойный, без спусков, подъемов и мостиков перегон. Машинист прибавляет скорость. Вагон то и дело заваливает в бока. Галина, прижавшись к стеклу, смотрит, как мимо проносятся вырубки, ельники и поляны. Вон сухая береза, кора от которой поотделилась, и стоит подуть ветерку, как она затрещит и закаркает, словно птица. Вон высоко на словых сучках волокна зависших былинки, оставшихся здесь еще от зимы, будто память о зимней вывозке сена.

— Природой любуетесь? — улыбается шахматист, пряча в портфель коробочку шахмат.

Галине приятно, что с ней разговаривает мужчина, который, кажется, симпатичен, не очень навязчив и даже любезен. Однажды с ним она где-то встречалась. Но где и когда? Галина пытается вспомнить. Напрасно. Командировочных много сейчас стало сздить, особенно в те суматошные дни, когда срывается план и надо как-то его поправить.

— Да так, — говорит она, с удовольствием подмечая в мягких глазах мужчины, его полноватом лице, а также в ярко-зеленом галстук и отутюженном черном костюме черты довольного человека, жизнь которому удалась. «Поди, жена у него, как ягодка боровая, — предполагает Галина, — работает где-нибудь в комбинате. И детей у них двое: мальчик и девочка. А в квартире хрустальные люстры, ковры, пианино...»

— Вы женаты? — вдруг спрашивает она.

— Нет, — мужчина отводит глаза, и Галина видит около них косые хитренькие морщинки. «Лукавит, — уверена, — в командировках-то все они холостые».

— А детей у вас сколько? — спрашивает с улыбкой.

Мужчина слегка розовеет и голосом ласковым, слово глядя Галину по голове:

— Всю жизнь мечтал, чтобы было двое.

— А на самом деле?

— На самом деле ни одного.

— Тогда я сочувствую вам! — заключает Галина и ждет с язвительным любопытством: чем же на это он ей ответит.

Но собеседник молчит, растерянно смотрит перед собой. Потом, потирая ладони, поспешно встает — низ-

корослый, но длинноногий, с неожиданно вздыбленной сверху спиной. «Кажется, горбик!» — пронзает Галину догадка, и ей становится стыдно, так стыдно, что вся она вспыхивает огнем и виновато глядит, как обиженный ею мужчина, достав папиросы, сует одну из них в рот и то-ропливо проходит в тамбур.

«Надо бы извиниться. А как?» — мучается Галина и переводит глаза за окно: на бегущие прямо на поезд дома, хлевушки и бараки, а за ними на снежном угоре целый маленький городок миниатюрных, без стен, острокрыших избушек — своеобразных картофельных погребков.

Двадцать девятый. Так называется лесопункт. Поезд сбавляет скорость. Буферный лязг. Галина запахивает пальто. Скорей — к грузовому помосту, где поджидает ее краснолицая, полная продавщица, две пекарихи в черных рейтузах и маленький тошенький мужичок в галифе, на коленках которого блещут кожаные заплаты.

Галина сдвигает засов. От товарного, шитого жестью вагона пахнет хлебом, крупой и рыбой. Внутри полусумрачно и прохладно. В решетчатых окнах колышутся усики света. Галина ищет в карманах препроводительный документ, подает его продавщице. Та читает с брезгливой морщинкой:

— Консерва «Ставрида»?

— «Ставрида».

— Три года назад как наелись. Вы бы сюда колбасы.

— Будет и колбаса, — обещает Галина.

— На Первое мая?

— На Первое.

Мужичок, нутужно пыхтя, выносит ящики на помост. Весь раскраснелся, вспотел, жилы, как доски, выставились из шеи.

— Давайте-ко помогайте! — кричит пекарихам.

Но у тех вместо помощи приговорка:

— Умен, да не разумен!

— Чево?

— Тово, что мужчина довжон отстранять женщину от нагрузки.

Грузчик устал, мешки и ящики явно ему не под силу, но он хорохорится, бегаёт петушком, все время кого-нибудь подъедая.

— Ночами эдак не задыхаюсь! — вдруг объявляет, сверкая заплатами на коленях.

Мужичок Галине поднадоел. Только и знает трепать языком, и она замечает ему с усмешкой:

— Кто тебя ночью-то понуждает работать?

— Моя благоверная, — отвечает с готовностью грузчик, — уж больно она охочая до меня!

Продавщица улыбается, пекарихи смеются, а Галина краснеет и укоризненно говорит:

— Ты не очень. Не очень-то распускайся!

— А я распушенный еще с холостых годов! — бахвалится мужичок и на трясущихся ножках, задыхаясь и кашляя, тащит куль к вагонетке и, навалив его с помощью пекарих, потешливым голосом добавляет: — Девушки, тетеньки, старушонки! Ково только не было у меня! Сотни-то две, поди, перебрал!

— Оттово такой надсаженный! — хохочет продавщица, пекарихи тоже хохочут, а Галина, мотнув осуждающе головой, закрывает вагон и слышит раскаты поленьев, хруст снега и ярые голоса. Сначала женский:

— Стой! Стой, сотона! Неужто тебя отпущу?! Неужто не обуздаю?!

Потом и мужской:

— Хватит! Нажился! Сказал, сбегу! И побег!

— Митенька! Дьявол! Лёко ты в самом деле!

— Покедова, дорогая!

— Лёко! Ты ведь хотел не дурить?

— Хотел, да перехотел! Сама виновата! Высоко носишь себя!

— Митенька! Сотона!

Митенька в темной фуфайке, волосы длинные, ниже шеи, скачет в полный опор по тропе, полевая сумка подпрыгивает на ляжке.

— Погоди! Погоди! — дает знак машинисту.

Но машинисту не до него. Только что он пропустил встречный поезд с хлыстами, и надо спешить пройти перегон, пока не занял его еще один встречный. Короткий свисток. Перестук бандажей.

Пробегают товарный поезд. Пробегают и пассажирский. Беглец бросается к полотну, перескакивает помост и настигает раскрытую дверь, в которой стоит длинноногий, со вздыбленной кверху спиной пассажир в хорошо



отутюженном черном костюме. Беглец, выбиваясь из сил, тянет к нему пятерню и умоляюще:

— Помоги!

Пассажир опускается на колени и подает решительно руку, но тут же решительно убирает, расслышав отчаянный бабий визг:

— Не пушай его! Не пушай!

Галина все это видит из задних дверей вагона. Она негодует на вздорную бабу, которая, видимо, стоит того, чтобы такие, как Митенька, от нее сломя голову убежали. А на Митеньку у нее не хватает сердца: ну-ко не мог заскочить в вагон, и вот стой теперь, как дурак, на глазах у всего поселка. Но хуже всего обидно Галине за пассажира. Ведь хотел помочь! И помог бы! Да послушался дуры-бабы, испугавшись ее визгливого: «Не пушай!»

Поезд мчится в ольховом подросте. Галина смотрит в раскрытую дверь. Уплывают назад бараки, поленицы дров, опозоренный Митенька с кирзовой сумкой на ляжке, крыши, шея железного крана и висящие над поселком тонкие плеточки проводов.

Галина не знает, на что и подумать, увидев вдруг у себя под рукой девочку в длинной фуфайке, которая, вздрагивая плечами, тихонько и горестно плачет.

— Что же ты? Что же с тобой? — спрашивает в волнении.

— У меня папа с мамой тоже такие, только наоборот.

Непонятно Галине, странно:

— Наоборот?

Вытирая стеганым рукавом сырое лицо, девочка разъясняет:

— Папа пьет, а мама все время куда-нибудь убегает.

Галина нервно кусает губы и ощущает, как грудь у нее заливают бессилием и досадой. Вот оно, горюшко, рядом, а помочь ему невозможно.

— Не горюй, — утешает, — ты же большая, все у тебя впереди.

— А у тебя позади? — девочка спрашивает то ли с вызовом, то ли с укором, спрашивает, как взрослая взрослую, и в глазах у нее сквозь блескующие слезы пробивается нетерпение.

— Что ты?! Что ты?! — Галине немножко не по себе. Так уязвимо, прямо и больно могут спрашивать только подростки. И она спешит успокоить не столько девочку, сколько себя: — И у меня еще все впереди. Все, все. Неужели не веришь?

Голос у девочки сломленный, тихий:

— Я не знаю. Я мало еще жила. И об этом меня никто не спрашивал.

— Ничего. Как-нибудь. Только надо маленечко подождать.

— До чего подождать?

— До хороших дней. Ждать-то, всяко, умеешь?

Глаза у девочки светятся робко, голубовато, как незабудки возле сырого болотца:

— Не умею... Но я терпеливая... Я научусь...

«Тук-ту, тук-ту», — перестукивают колеса. Поезд спешит к Пятьдесят второму. Так называется лесопункт, в котором будет еще одна остановка.

Два дня ликовала непогода, стегая по окнам косыми плетями дождя. Блеяла овца. Столбовое крыльцо соседнего дома было похоже на мостик большой самоходной баржи, плывущей вслепую среди ненастья.

Начальник отряда Владимир Шмонин имел аварийный вид пассажира, на помощь к которому не придут. Глупей ситуации не придумать. Изыскана автотрасса длиной в пятьдесят километров. Сделаны съемки, разбит пикетаж. Оставалось на речке Белой заснять мостовой переход. И вот небо как прорвалось.

К полудню третьего дня в облаках засинело, дождь поослаб, и мелькнула надежда, что к вечеру он перестанет совсем. Поглядывая в окно на промывы среди туч, Шмонин держал в голове две задачи, решить которые мог только он. Мало того что требовалось сходить за болото, сделав там съемку участка реки, так предстояло еще и понять: как выбираться отсюда, ибо стояла пора постоянных дождей, дорога набухла, того и гляди, вся окажется под водой.

Снова идти к колхозному бригадиру? Шмонин поежился, вспомнив, что он обращался к нему не раз из-за транспорта и продуктов. Бригадир был из тех, кто себя никогда не обидит. Голубые глазки его на любую просьбу скупно блестели, и в них угадывался вопрос: «С чем пришел? С выгодным — проходи! С невыгодным — до свиданья!» Идти к нему не хотелось еще и по той причине, что Шмонин был недостаточно смел и разговоры склонять в свою пользу не научился.

Владимир окинул глазами комнату, где за дюраlevым сборным столом сидели геодезисты: плечистый, с

лицом румяного мальчика Леня Буровкин и горбоносый, спортивно сложенный Коля Коцуба. Один листал пикетажную книжку, второй чертил на ватмане план. Оба были удручены. Лица выказывали усталость. С мая месяца по октябрь каждый день повторялось одно и то же — рубка просек, центровка треног, таскание реек и нивелира. В однообразии этом таилась опасность стать ко всему настолько недобрым, что никого уже не терпеть. У исполнителей, к счастью, крепкими были нервы, они до этого не дошли, и теперь, обегая их взглядом, Шмонин испытывал к ним приязнь. Самого же Владимира выручала привычка жить все время в крутом беспокойстве, опасаясь сделать что-то ошибочно или плохо. Трассу ведет верно выбранный румб. И он, как начальник отряда, должен точно его найти, чтоб потом строителям не было тяжело. Этот румб мнился Шмонину даже во сне в виде чуткой стрелки буссоли, глядевшей прямо сквозь лес на невидимый полюс Земли. Румб указывал путь, тот самый, который Шмонин долго искал, пугаясь от мысли: а что, если он его подведет? Нынче румб Владимира не подвел. Трасса легла, минуя два затяжных косогора, глубокие карсты и глинистый ров. От мысли, что он нашел для дороги самый короткий и выгодный путь, что этот путь обозначен столбами углов, сторожками и реперами, было Шмонину хорошо. И в то же время где-то в душе стороной проходила досада: не все еще сделано до конца.

Выходя на хозяйскую половину, где русская печь и крестьянский, на толстых ногах, обеденный стол, Владимир остановился и пожалел на секунду, что Леню Буровкина, этого юного крепыша, который был в делах изысканий всегда безошибочен, три дня назад угораздило вывихнуть ногу, из-за чего на промер его не пошлешь. «Придется Коцубу», — подумал с нехотью Шмонин, ибо знал Николая как торопыгу, который может и подвести.

— Тебе, Николаша, завтра с рабочими на промер!

Коцубе это само собой не по нраву. Он медленно опустил на ватман линейку, взглянул на Буровкина как пострадавший, кому сегодня не повезло. Затем повернулся вместе с брезентовым стулом, и его горбоносое, с тонкой складочкой губ лицо обнажило сомнение:

— А если не справлюсь?

— Должен!

— Ты полагаешь?

Владимир поморщился. Эта манера Коцубы играть под лукавого дурачка всегда его раздражала.

— Пойдешь и сделаешь, как велят! — потребовал он и, взглянув на Буровкина, тихо добавил: — А ты, Леонид, просвети. Поднатаскай его, как умеешь.

Пройдя за матерчатый полог запечья, Шмонин оделся, толкнул прохрипевшую дверь. Озабоченный, торопливый, в брезентовом вислом плаще и броднях с махающими верхами, он был похож на колхозного пастуха, который направился к стаду, чтобы пробить с ним до вечера под дождем.

Дождь выбивался из сил. Был редок и мелок. Сквозь облака пробивалась синяя лысинка неба. Скрипели пятки дверей. Кое-кто из крестьян выходил в огород, чтоб вскопать там последнюю грядку. От взмокших окошек, в которых бледнели неясные пятнышки лиц, от банек, дымившихся над рекой, от копавших картошку людей наносило на Шмони́на чем-то домашним, еще не забытым, и сердце его потихоньку сжималось, и он ощущал грусть дорожного человека, которому выпало жить далеко от семьи.

Жизнь для Шмони́на как бы делилась на две половины — зимнюю, на приколе, рядышком с сыном, женой, а также с негрозным начальством, которое все за тебя обдумает и решит; и летнюю, на ногах, под дождем и солнцем лесной природы, когда ты сам есть начальство и, опекая своих подчиненных, отводишь их в тень от лишних забот, решая за каждого, что им делать. И та и другая жизнь так приятна бывает в начале, но так надоедлива в самом конце. С какой радостью по весне уезжал Шмонин в лес! И вот теперь по осени этот лес настолько ему приелся, что не было силы его терпеть. Скорее в город, домой, где много уютного, много родного, без чего изыскателю долго нельзя. «Как-нибудь,— бормотал вполголоса Шмонин, ступая к белому, с запахом свежей щепы пятистенку,— еще пару деньков. Оттерпим их — и шабаш».

С бригадиром он встретился в сенях. Тот был одет в обшитую болоньей телогрейку, собирался, видно, куда-то идти.

— Опять с какой просьбой? — спросил бригадир недовольным баском мужика, у которого норовят взять чего-нибудь из хозяйства.

Владимир сказал:

— Насчет людишек на завтра да насчет того, как отсюда нам выбираться?

Бригадир был высок и взглянул на Шмони́на сверху безбровыми, крошечно-голубыми глазами:

— Людей-то куда? Нешто в лес?

— В лес.

— Никто не пойдет!

— Ка-ак?

— Худа твоя роботёшка. Каб была хороша, никто б лататы́ от тебя не задал,— бригадир говорил, как царапал сучком по нервам. Слушать было его обидно. Не бывало такого сезона, чтоб вопрос: «Где найти для работы людей?» — обходил Владимира стороной. Вот и нынешним летом в отряде его было двое старых колхозников, трое студентов и четверо местных ребят. И никто до конца не доработал. Шмонин избегал все близлежащие к трассе деревни, искал в них рабочую силу, которую если и находил, то лишь в лице инвалидов и стариков. Не будь Буровкина и Коцубы — торчать бы на трассе ему до сих пор. Исполнители были что надо — один — спортсмен, другой — здоровяк — и справлялись с делами спорей работяг, подменяя их где угодно. Однако сегодня Буровкин хромал. Оставался только Коцуба. Что он мог без людей?

— И всего-то надо двух человек,— грустно вымолвил Шмонин.

Бригадир не отказывал:

— Мне-ка не жаль! Забирай! Только вряд ли кто согласится. Пустое дело.

— А ты повлияй, — посоветовал Шмонин.

В глазах бригадира сквозь голубое блеснула искорка едкой усмешки:

— Мне что от этого будет лучше, коли я от бригады своей отыму для тебя мужиков? У нас картоха в поле не убрана. Думать надо.

Понял Владимир, что он напрасно теряет время. Натянув на глаза высокую кепку с проступающим в ней картонным кружком, он вздохнул и спросил без всякой уже надежды:

— А как уехать от вас?

— А уехать вы можете утречком послезавтра,— сказал бригадир, неожиданно подобрев,— трактор пойдет до пристани за мукой. Попутé и ваш таборо́к прихватит.

От бригадира Шмонин ушел не столько расстроенным, сколько довольным. Ясность все-таки появилась, как можно отсюда уехать домой. Но сначала надо успеть на реку, сделать съемку подводного русла. В трех сечениях. Без рабочих. Сумеют ли это они?

В лицо подувал бодрый, с кислíнкою силоса ветер. Рябила в лужах вода. В воздухе веяло предморозным. Шмонин шел, оглядывая деревню, в которой прожил с ребятами две недели. Все остальное время с начала мая они обитали в лесу. От постоянных ночевок в палатках, а то и под деревом у костра глаза его были воспалены, а лицо имело дряблое выражение давно досыта не спавшего человека. «Успеется,— думал Владимир,— вот в город приедем, там храпанем».

И все-таки Шмонин считал, что им повезло. Полмесяца жизни в теплой избе! Не слышать сквозь сон шуршания веток, скрипа сушин, стукотливого дождика по палатке! И всякий раз, уходя на работу, сытно завтракать за столом! А потом, через десять часов, возвратившись из лесу, снова брать в руки ложки и приниматься с охоткой за вкусные щи, за картошку, за кашу, а напоследок за крепко заваренный чай! Хозяйка попалась настолько заботливо-расторопной, что Шмонин при виде ее всегда умилялся, с печальцей в глазах вспоминая покоенку-мать, тоже умевшую вкусно готовить еду и, как за детьми, ухаживать за гостями.

Владимир вошел в пропахшую варевом кухню. Хозяйка, сухая, востренькая старушка, скребя ухватом по кирпичам, доставала из устья тяжелую плошку. Улыбнувшись, как улыбается матери сын, Шмонин прошел в свою половину.

Геодезисты сидели все в тех же позах, только не белый лист ватмана с планом дороги был под руками у Николая, а длинный, развернутый, как полотенце, свиток алой миллиметровки, на котором пестрели резкие линии ствóров. Буровкин только что кончил свой инструктаж и глядел на Коцубу так, как если бы спрашивал у него: «Толково я объяснил? Если нет, то могу повторить все сначала».

Шмону нравилось, что Коцуба вникал в непонятное с интересом, старался усвоить его получше, благо хотел везде преуспеть и явить собою того инженера, которому можно доверить отряд. По сути дела, Владимир с Буровкиным целое лето работали на него, давая Коцубе уроки, как выбирать на местности румб, как измерять тахеометром угол, как гнать вдоль трассы nivelировку... Уроки были нужны инженеру, и он внимал им, как очень старательный ученик, решивший догнать своих педагогов, чтоб не зависеть от них ни в чем. Единственно, что в Николае Владимира удивляло, так это его неумение быть благодарным, точно он и Буровкин дали Коцубе не столько, сколько ему было надо, и оттого он имел немного обиженный вид.

Шмонин подсел к столу, сдвигая с миллиметровки тяжелую черную готовальню и старый бронзовый транспортир.

— Инструктаж отменяется! — объявил.

Коцуба поднял белесые брови, и лицо его осветилось подсматривающим лукавством, желанием зорче Шмонина разглядеть, поймать в нем скрытую хитрость и, может, даже разоблачить.

— Шутишь, Володя?

— Нет, не шучу, — ответил Владимир, — на гидростворы пойдем я и ты.

— Не доверяешь! Считаешь, что я не справлюсь! — Николай шевельнул уголочками губ, выражая неодобрение. — Что-нибудь напортачу — и тебе за это намылят бока?!

— Да брось, — отмахнулся Владимир.

— Но у тебя же радикулит, — напомнил Коцуба, — зачем рисковать? Схожу и один. Сколько рабочих дашь?

— Нисколько. Нету людей. Бригадир отказал.

— Понятно-о, — сказал Николай разочарованным тоном, ибо за время, пока Владимир ходил к бригадиру, мысленно свыкся с готовностью завтрашний день провести на реке, однако не как исполнитель, а как начальник, к чему его и обязывал Шмонин. И вот тот же Шмонин сейчас говорит о другом. «Не умеешь подать себя в выгодном свете! — подумал о нем Николай со злостью. — Мямля мямлей! Какого-то вшивого бригадира не мог уломать. Вот и вкалывай без людей. Оставляй в



лесу без того худое здоровье. Сам жить как следует не умеешь и нам не даешь. Сколько мы с Леонидом просек понарубали! Сколько побегали с рейкой! Сколько врыли столбов! Почти всю трассу тянули вдвоем. Мог бы немного и заплатить. Да где?! Только и знаешь: нечестно, неправильно, могут проверить. Сам довольствуешься немногим, так других-то зачем обижать? Работяги с чего у тебя бегут? С того, что деньжатами обделешься. Даешь по четыре рублика в день. А надо бы вдвое больше. Записал бы в наряд категорию сложности чуть повыше — и все покатилося бы как по маслу. От длинных рублей никто еще не бежал. Но с тобой об этом нельзя. Опять ведь надавишь на совесть: не положено! Что вы! Как да узнают! Вот и тяни свой воз без подмоги. Обрекай себя на тоскливую жизнь. Кто-кто, а я на подобное не согласен...»

— Завтра выйдем чуть свет! — ворвался в раздумья внятный голос, и Коцуба взглянул на Владимира посторонне, как на скучного человека, который за чем-то ему помешал.

— Что ж, — ответил он Шмонину, — я не против! — И его тонкогубое, с крупным носом лицо обнажило полную безучастность.

Кто-кто, а Коцуба умел показать себя отстраненным. Взгляд его карих, чуть выпуклых глаз уходил куда-то в себя. Николай проникался весь в небылое, ощущая себя совершенно нездешним, ушедшим вперед на несколько лет существом, кого в сегодняшнем вечере привлекала разве лишь пшенная каша, брусника в сметане и раскладушка с расстегнутым спальным мешком.

Укладываясь в глубокую, по длине долговязого тела ватную полость, Коцуба благостно млея. Лучших минут, чем эти, когда безоглядно можно мечтать, он не знал. Вот и сегодня, лежа в мешке, он пытался понять: что вдохновляет его на работу? Вероятно, счастливая перспектива стать когда-нибудь вровень с тем, кто не завидует никому, кто силен, кто доволен собой и, помимо того, что имеет, уже не желает себе ничего. Главное — надо уметь учиться, и обязательно у того, кто стоит над тобой и кому ты сегодня полезен и нужен, дабы завтра вырасти до него. «Берегитесь меня! — улыбнулся Коцуба. — Берегитесь все, кому изменяет удача! Потому что я забираю ее себе...»

Проснулся Коцуба в предутренний час. В переплетах рамы темнели низкие облака, плывшие среди сумерек тихой деревни. «Подъем!» — приказал самому себе.

Буровкина не будили. Зачем? Пусть поспит до упора. Но Леня поднялся, заслышав, видимо, как собирались они, как пили из чашечек чай, и, волоча непослушную ногу, приплелся на кухню, смущенный от мысли, что он, молодой, неистраченный, сильный, а оказался таким вдруг негодным.

— Ты-то чего не спишь? — заметил ему Коцуба с небрежной ухмылилкой человека, который имеет право блеснуть своим преимуществом перед каждым, кто не идет сегодня с ним в лес. Но до конца насладиться своим преимуществом не успел, потому что Шмонин кивнул на окованный ящичек с инструментом:

— Нивелир не забудь.

Николай считал, что брать с собой нивелир, да еще с громоздкой треногой, совсем ни к чему, потому иронически улыбнулся:

— Для чего, хотелось бы знать?

— Будем делать привязку, — ответил Шмонин.

— Не понимаю, — пожал Николай плечами. Недоуменно пожал, с досадой. — Ведь делали. Этим же нивелиром. Три дня назад.

— А теперь по новой. После дождей вода поднялась — и уровень в Белой переменялся.

— Могли бы и так. Без всякого нивелира. Чего его зря таскать?

Шмонин, кажется, рассердился. Отставив рюкзак, подошел к Николаю: лицо худое, подсушенное в висках, с коротеньким носом и тусклыми, в редких ресничках глазами.

— Что-о?

— Хватило одной бы рейки. Смеряли б на глазок — и хорош.

— И это мне говорит инженер? — Шмонин глядел на Коцубу с непониманием и укором, как на младшего брата старший, готовый не только присоветить, но и помочь разобраться в его ошибке. — Запомни, приятель! Наша работа халтуры не терпит. Точность и честность — вот два кита, на которых стоит изыскатель. А ты: «на глазок»...

Коцуба слушал Шмони́на так, как если бы тот читал ему приговор, с которым он был, разумеется, не согласен. И все же он взял инструмент. Пихая его в рюкзак, покосился с тайным подми́гом на Леню, мол, не хотелось бы глупого дела делать, да вот предстоит.

Выходя за Шмони́ным в сени, Коцуба замешкался на секунду, и дверь захлопнулась перед ним, отделив его от Владимира, как преградой. И Николай испугался. Но как-то по-детски коротко испугался тем неранимым легким испугом, который проходит быстро, не оставляя в душе болевого следа.

Шмони́на он догнал за деревней. Шел Владимир с крутой перевальцей широким и низким шагом, как ходят все деревенские мужики, привыкшие с малых лет надеяться на свои достаточно крепкие ноги. И все-таки видел Коцуба в его походке какое-то принуждение, словно Шмонин ступал сквозь усталость или болезнь, и длинные полы плаща его колотили по тусклым резиновым голенищам, мешая Владимиру делать уверенный шаг. «Сам виноват! — подумал о нем Николай, как думает о начальнике подчиненный, когда ощущает свою независимость от него. — К бригадиру пошел с пустыми руками?!»

Николай ступал по вязкому, в глинистых лужах проселку. Справа и слева — поля. От них наносило запахом влажной соломы. В тусклом воздухе, как ниоткуда, возникла снежинка.

Шмонин остановился. Прикурил папиросину. Обернулся.

— Идешь?

— Вероятно, — ответил Коцуба.

Пройдя овсяную стерню, они углубились в еловый лес, где было таинственно, сумеречно, точно в заброшенном зале, куда собирались важные гости, чтобы обдумать свои дела. Скрипела опавшая с веток хвоя. Вверху, над разрытыми облаками, трепетал синий свет, словно дул кто-то там на небесные свечи и никак их не мог потушить. Утро нехотя развиднялось, поднимая с дороги туман и запах.

Запах стал тяжелеть, смешавшись с вонью болотной цику́ты, едва под ногой колыхнула зеленая зыбь. Мох закачался, завывал какие-то красные гибкие корни. Закланились желтые зонтики гиблых цикут. Вода чернела

и закипала, когда ступала в нее нога, и норовила обнять весь сапог, плеснув при этом за голенище. Чавкали, скручиваясь, портянки, и жило обманное чувство, будто болото не кончится никогда. Вид навесившихся сушин, тощих сосенок и кустов был настолько однообразен, что, казалось, все это выросло для того, чтобы кого-нибудь здесь опечалить.

Шмонин пыхтел, тяжело подправляя под мышкой треногу, которая то и дело брякала по кустам. Был он опытный изыскатель, провел под елками десять сезонов и каждой весной, отправляясь в скитальческий путь, ощущал себя более менее сносно, считая, что хватит здоровья и выдержки продержаться в лесу до дождей. Но нынче почувствовал, что сдает. Все чаще и чаще стал досаждать ревматизм, при котором суставы так остро ныли, будто из них вынимали заживо нерв. Да еще этот клятый радикулит, всегда неожиданный и коварный, вонзавшийся тонким буравчиком меж лопаток именно в тот незадачливый час, когда надо быть непременно здоровым.

Шмонин вздохнул. Сейчас бы лежать ему на печи, выгонять из тела простуду, а он, усталый, сырой, с ледяными ступнями ног, бредет себе по болоту, глядит в безобразный простор и, видя сухие снежинки, думает, думает с робкой мольбой: «Хотя б непогодка повременила. Не надо теперь ни дождя, ни снега. А то и себя и Кольку уложу под хворое одеяло...» Владимир поежил-ся, обернулся, переместив треногу под левую руку, и его некрупное, в лапках морщинок около глаз лицо отразило изнеможение:

— Ну как, Николаша?! Живой?

Коцуба качнул на Шмонины рейкой: давай, мол, иди, нечего паяться на меня, я не из тех, над кем надо вздыхать и охать. Владимир шагал все тише и тише, и Николай был вынужден сдерживать шаг. Ноги его были жилисты и упруги и ступали по кочкам легко, с какой-то спортивной мягкостью, без напряжения. Где-то в душе Коцуба испытывал к Шмонину сложное чувство. По обвислому и сырому плащу, потной шее с худой желобинкой, двум плетеньцам серых волос, выбивавшимся из-под кепки, по тяжелому спотыканью с выплеском бурной воды, по тому, как Шмонин дышал, было видно, что все в нем измотано, изболело на том пределе слабеющих сил, когда

человеку пора отдохнуть. Но отдыхать среди болота было нелепо, и Шмонин брел, продолжая взбивать сапогами зеленую зыбь.

Взглянув на Владимира еще раз, Николай внезапно открыл для себя, что Шмонин стал для него совершенно ненужным. И в самом деле. Чему он мог у него научиться? Ничему. Все, чем Шмонин владел, стал владеть в совершенстве и он. Получалось так, будто он, Николай, использовал Шмонина в собственных целях. Целое лето использовал и теперь, не увидев в нем больше нужды, решил от него отойти. Хорошо ли это? Нет, не совсем. Однако что делать, думал Коцуба, если время сейчас такое, все стремится вперед, понуждая спешить и тебя, чтобы ты поскорей оторвался от тех, кто умерен в желаниях, кто неловок, чрезмерно стеснителен и не умеет устраивать жизнь.

Владимир опять обернулся, лицо обмякшее, пылкое, с бледной улыбочкой сквозь усталость:

— Все! Кончились наши муки!

Прошуршав плащами в перьях осоки, изыскатели выбрались из воды, закурили, обмолвились парочкой слов и пошли, раздвигая ногами черничник.

Показался квартальный столб с выжженной цифрой, плесенью и подрубом. От столба вправо и влево бежали пикетные сторожки, порубочный сор, пни и вешки. Трасса сквозила по низу леса длинной вытянутой струной. Лес глухой, переспелый, с низкой щетиной горбатых суков. Мрачновато в лесу, неподвижно, и мнится, будто за ближним стволом прячется кто-то живой, кого никогда не увидишь, но ощутишь и поверишь, что есть таковой и что он за тобой, таясь, наблюдает.

Впереди посветлело. Просеку вывело вниз. Сквозь сырой чернотал блеснула полоска воды.

Бочажистую, в щучьих ямах, замойнах и ступенях реку почти не узнать, настолько она изменилась по цвету, уровню и течению.

Шмонин вонзил копытца треноги в береговой сочный дерн, надавил на них каблуком и, закрепив нивелир, послал Николая на репер.

Срубленный из метрового пня островерхий еловый репер имел гладкую полочку с костыльком, куда рейка и опустилась. Качая ее взад-вперед, Николай ухмыльнулся ухмылинкой человека, который, хотя и знает, что дело

это ненужное, но выполнит все же его, потому что начальству положено не перечить.

— Ставь на воду! — крикнул Шмонин.

Коцуба подался к реке вальяжной поступкой отпускника, не привыкшего торопиться. Было глупо, казалось ему, заниматься нивелировкой, вместо того чтобы взять и поставить рейку на прежний урез реки, закрепленный осиновой точкой, которую он же и забивал, и взглянуть: на сколько стал новый уровень выше, чем старый. Все-го-то и сделать! Так нет. Кропотливый начальник боится, как бы чего не случилось. Подумаешь, получился бы перемер на какой-нибудь сантиметрик. Как будто бы это могло повлиять на расчеты моста. «Предусмотрительный, будто агент страховой конторы! — ворчал Николай, съезжая по скользкому склону. — В детстве обжегся на молоке. До сих пор на холодную воду дует».

Поставив рейку вровень с рекой, Николай посмотрел в овсяную муть, стараясь в ней разглядеть деревянную точку. Но не увидел ее. Удивился. Зашарил по дну сапогом. Однако напрасно. Точку скрыло водой. Где была она — непонятно. Надо же так? Николай растерялся. Вздываясь по скользкой траве на берег, подумал, что Шмонин сейчас его обязательно спросит: «Ну как, приятель? Зря брали с собой инструмент?» Но Шмонин, скрипя станovým винтом, отвинчивал нивелир. Отвинтив, уклад его в ящичек. Распрямился:

— Давай теперь к верхнему створу!

Верхний створ в полусотне метров, среди ольхового редняка, закреплен огромной вехой с поперечиной по расщепу. Ступая к нему, Коцуба метал глазами по черноталу, пытаясь узнать: не сорвало ли плот?

Плот был на месте, целехонек, лишь завален со всех сторон стебельками, листьями, пузырями. От скобы уходила в воду веревка, привязанная к кусту, который был затоплен до самой макушки. Перерубив веревку, Коцуба забрался на плот, отпихнулся, поплыл за реку.

Он чувствовал себя виноватым. Потому старался всю. Шмонин еще не успел размотать свиток тошкового, в три прожилки, троса, а Николай уже бил топором по колу. Потом натягивал трос, чтобы он висел над рекой и были видны на нем мерные метки. Еще пуще старался он при промере. Руки мелькали проворно, как у заправского плотогона, который всю жизнь провел на воде.

То они резко топили рейку, то торопливо хватались за трос. Плот продвигался от метки к метке и вскоре уткнулся в прибрежный рогоз.

Запихивая в карман пикетажную книжку, Шмонин мягонько улыбнулся, и к волосатым его вискам потянулись пучочки морщин. Коцуба его удивил тем, как вел по реке зыбкий плот.

— А ничего у тебя! Выходит!

Коцуба не подал виду, что похвала ему по душе, даже напротив, навел на лицо недовольство, давая этим понять, что он не из тех, кто позволяет гладить себя по головке.

— Теперь куда? — спросил он, отталкиваясь шестом. — На главный?

— На главный! — охотно откликнулся Шмонин.

Николай спускался мимо безлистных кустов, мимо морщинистой белой коры, мимо корней, что упрямо выперли из-под елки и висели, как чуткие щупальца осьминога. Волна наливалась на плот, крутилась волчком, набегая с налету на голенища. Краешком глаза Коцуба ловил тот берег, которым шел его низкорослый начальник в кепке, стронутой на затылок, и расплескавшемся долгом плаще. Шел, ломая кусты, копошащийся, бойконький и усердный. «Всю жизнь вот так и будет топтаться, — подумал со снисхождением Николай, — не выше, не ниже, на уровне речки Белой. И ради чего? Ради насущного хлеба... Эх, люди, люди... Как мало вам все-таки надо. А нам? — спросил у себя Коцуба, почувствовав, как высоко и сладко взмыло в груди. — Нам — много! Во всяком случае больше, чем рядовому русскому человеку, будь он Буровкиным, Шмопиным или еще кем-нибудь, кто мне сегодня не интересен...»

Николай не успел до конца размотать свою мысль. Плот дрогнул, мочальная скрепка его развязалась, и крайний кряжик, перевернувшись, поплыл вдоль кустиков в одиночку. Коцуба пихнулся к берегу что есть мочи. Плот доплыл до затопленной ивы, но тут разъехался, как на нитках, и Николай погрузился на дно. Хорошо, хоть было невязко и мелко, и он, забрав в одну руку рейку, в другую — трос, стал выбредать, раздвигая густую осоку. «Был на уровне, стал под уровнем, — иронически усмехнулся. — Можно подумать, что кто-то

подслушал мои мыслишки и наказал, дабы лишка не заносился, не подымал себя высоко».

Трасса была в трех шагах. Выходя на нее, Коцуба взглянул за реку.

Шмонин ходил по створу сдвинутых вешек, плевал-ся и мял кулаками виски. Во всей фигуре его была досада и виноватость, точно он допустил большую ошибку и вот не знает, как дальше быть.

— Чего? Ну чего вот теперь? — прокричал Коцуба грубым голосом съемщика трассы, который целое лето только и знает, как распалаться, командовать да орать, повелевая ленивыми мужиками.

Владимир остановился. Задумчиво глянул вдоль реки Белой. Была она неширокой. Каких-нибудь метров тридцать. Стояло бы лето — промерял бы вплавь, да и все. Но лето ушло. И осень уходила. С неба срывались то мерзлые капельки, то снежинки. Дул знобкий ветер. Шипела вода. Нет! Купаться сейчас безрассудно. Лучше не пробовать, если не хочешь до срока отправиться на покой.

— А ты бы чего предпринял? — расстроено спросил Владимир.

Коцуба пожал плечами, словно сказал: «Я не начальник! А раз не начальник, то и тужить об этом не мне». Вслух же ответил:

— Всяко нашел бы какой-нибудь выход.

Шмонин достал папиросину и, закурив, нерешительно объявил:

— Будем вязать новый плот.

— А для этого что? — подцепил с ехидцей Коцуба. — Рубить сушнячок?

— Сушнячок!

— А провозимся долго ли? Дотемна?

— Дотемна!

— А спичку кто зажигать мне будет, чтоб я реечку разглядел?

— Промерять будем утром!

— Это что? С ночевой у костра?

— С ночевой!

— А как же с отъездом на пристань? Ведь трактор завтра чуть свет должен нас увезти! Оставаться, выходит, в деревне? Камеральничать до зимы? Нет, Володя! С такой перспективой я не согласен!



Шмонин оперся о вешку, вяло прищурил глаза, посмотрел на Коцубу с той безвыходной грустью в морщинах и складках лица, с какой ни во что, казалось, не верят.

— Ну а ты-то чего предлагаешь? — спросил невнимательно и устало.

— Я? — Коцуба замялся. Он предлагать ничего и не собирался и в то же время не мог допустить, чтобы такие, как Шмонин, держали над ним в разговорах верх. — Я могу предложить что угодно, — добавил он с нервной поспешностью и апломбом, — но только не ночевую под елкой!

Шмонин выплюнул папиросу:

— Какой ты досадливый, ей-богу! Ровно дрызгунчик!

Коцубе стало неловко, как мальчику перед взрослым, щеки его зацвели, и он почувствовал злую потребность исправить мнение о себе. Чтоб не мальчиком выглядеть, а мужчиной. Мужчиной, который бы сделал то, что Владимиру и не снилось.

Собрав мерный трос в упругие кольца, он забрел по колено в реку.

— Не зевай! — прокричал и, расставив удобнее ноги, широко и сильно взмахнул рукой. Взметнувшийся круг раскатился в длинную плетъ, высек борозду среди ряби и булькнул концом где-то возле кустов, меж которых топтался Шмонин.

Подбирая трос, Владимир сунул руку по локоть в реку. Встряхнул рукавом, выливая воду, как из трубы, и понуро уставился на Коцубу:

— А дальше?

Николай, должно быть, обиделся на него и оставил вопрос без внимания. Расстегнув на брюках ремень, он опустил с ним на колени и стал привязывать к рейке булыжник.

Шмонин вытянул шею:

— Это чего-о?

— Наблюдай! — неприветливо, как сантехник на голос жильца, отозвался Коцуба и, покраснев от натуги, начал сдергивать сапоги.

— Перестань! — потребовал Шмонин.

Но Коцуба словно его и не слышал. Махая локтями, снимал и плащ, и пиджак, и рубаху, да так суетливо и

нервно, точно кто-то его держал, а он, несмотря на это, все раздевался и раздевался.— Ты что? Давно не болел? — совсем расстроился Шмонин, когда Николай сорвал с себя остальную одежду и неприятно сверкнул нагой белизной.

— Не имеет значения! — молвил Коцуба и, взяв трехметровую рейку, надменно и тоненько улыбнулся, мол, что вы можете без меня?

В воду он заходил, презирая не только сухие снежинки, не только ветер и холод реки, но и Шмони́на вместе с поднятой в правой руке серой кепкой, которой он делал яростный жест, запрещающий безрассудство.

Отяжеленная камнем рейка шла в глубину вертикальным отвесом. Николай ступал, погружая рейку у меток. Холод брал его тело, как в лезвия ножниц, вот-вот, казалось, перестрижет. Но Коцуба был за себя уверен. Он сумеет блеснуть своим преимуществом перед каждым, кто ни разу в жизни не рисковал. «Ревмáтика бы сюда,— усмехнулся, представив на миг Владимира в роли пловца, который меряет гидростворы.— Поглядел бы я на него...»

Николай доплыл до быстринки и, надавив руками на рейку, стал ждать, когда она каменно кокнет о дно. В ладонь шибануло толчком.

— Двести семьдесят пять! — прокричал, называя отсчет.

Через пару сажёнок:

— Двести тридцать четыре!

Еще через пару:

— Сто семьдесят три!

Непослушные ноги нащупали дно, и Коцуба пошел на подъем, выводя из реки мускулистое тело. Все-таки он хорошенько промерз. Подбородок трясло. А когда, бросив рейку, ступил на берег, то почувствовал, как замозжило в костях.

Шмонин накинул свой плащ на дрожащие плечи Коцубы и посмотрел на него с неловкой какой-то заботой, точно хотел похвалить, да не смог отыскать теплых слов, на которые был не мастер.

Но Коцубу сейчас занимало другое. Что собирается делать Шмонин? Неужели еще работать? Покосившись на рюкзаки, осторожно спросил:

— Поедим — и домой?

— Как домой? — приподнял Владимир подсушенно-дряблое с маленьким носом лицо, на котором выстелилось упрямство. — А нижний? Или забыл?

Нет, Николай преотлично помнил этот третий, последний створ, рассекавший реку возле подрубленной елки, пламеневшей, точно костер, своей болезненно-розовой кроной.

Глаза у Коцубы потухли, и он одрогло сказал:

— И его промерять, выходит?

— И его!

Николай наступил на левую ногу — правой, потом на правую — левой, намереваясь чуть-чуть их согреть. «Как будто нельзя без промера, — мелькнуло в уме, — аналогично бы записали — всего и делов». Однако сказать об этом Шмонину не решился.

— Так, так, — сокрушенно вздохнул.

И Шмонин почуял во вздохе его тяжелую скрытую злость зря рисковавшего смельчака, который в чем-то нечаянно просчитался.

— Озяб? Понимаю! — заговорил Владимир, чтоб хоть немного Коцубу взбодрить. — Но раз уж начали, надо доделать. Сейчас я схожу за твоей одеждой.

— Ну нет! — Коцуба дернул плечами, и шмонинский плащ, прошуршав, съехал на ветки костистой бузины. — Сам в состоянии! — И, мелькнув белым телом, скрылся в кустах, направляясь к речному залому.

Залом заделался, видно, весной, когда берега изрядно подмыло, и разделенные Белой две толстокорые, длинные, метров под тридцать, осины упали друг другу навстречу, перехлестнувшись суками как раз на стремнинке реки.

Николай перебрался по скользким стволам и, сойдя в жестколистый рогоз, кое-как добрал до одежды.

Одевался он медленно, не попадая руками в проем рукавов. Дрожал и чувствовал, как в груди заливало чем-то тоскливым, и становилось жаль самого себя. Потеряно целое лето. И ради чего? Ради того, чтобы стать заурядным геодезистом? Не слишком ли дорого он заплатил? Он считал себя тем предприимчивым малым, который, как правило, полагается на свой ум, свой опыт, свою сноровку. У него был нюх на места, в которых такие, как он, обычно преуспевают. Нюх кидал его по стране. Иногда хорошо кидал, иногда — не совсем.

А в общем-то нюх подводил его редко. Из Минска, где он родился, где детство провел, где учился в десятилетке, поехал в Архангельск, чтоб там поступить в институт. Поступил, закончил его, получил направление на Печору, где был обязан работать мастером леса. Он и работал, однако недолго, благо нюх подсказал: хватит, практики поднабрался, пора отсюда давать задний ход. Что Николай моментально и сделал, перебравшись в Вологду, в комбинат. Но тут не светила надежда на должностной быстрый рост. Николай не расстроился. Сел в скорый поезд, который его через сутки доставил на Средний Урал, где столько проектных контор, управлений, бюро, институтов. Николай, разумеется, выбрал самый большой институт. Правда, и здесь приходилось брать быка за рога не сразу. Нужны постепенность, терпение, время. Не зря начальник отдела Валерий Валерьевич Вицин, добренький седенький старичок, дал понять, что в условиях института такие, как Николай, хорошо продвигаются вверх только после успешной работы на трассе.

Что ж. Начало положено. За спиной ни много ни мало — пятьсот пять пикетов изысканной автодороги. Завтра — в город. А там — институт, тишина кабинетов и ожидание встречи с тем, кого Николай не знал, но скоро узнает. Узнает, как до зарезу нужного человека, с кого отныне ему брать пример. «Нет,— подумал Коцуба, пихая озябшие ноги в холодные сапоги,— не потеряю лето. Потому что оно поработало на меня. Не так уж и худо оно поработало — до уровня Шмониных подтянуло...»

Одевшись, Коцуба сбросил с коряжины намотенный троса и вдруг понурился, вспомнив с досадой немеренный створ. Елки, стоявшие над рекой, гудели тускло и глухо, точно покойника накликали. Плеснуло мерзлым дождем. Николай ступил на залом. Кора на осинах обмылилась, стала слизкой, и он едва не свалился в реку. Подходя к рюкзакам, услышал треск сухосмольных сучков, запах дыма и кашель. Шмонин, пристроившись на пеньке, подживлял колыхавшийся огонь, кладя в него палочки и бересту. Обидно сделалось Николаю. «Мне, выходит, чего? Купаться в реке? А ему — припухать у костра?»

— Что? Замерз? — спросил, надменно сдвигая беле-  
дые брови.

— Да-а, не жарко, — ответил Шмонин и жестом руки  
показал на лесину. — Садись...

Коцуба уселся не сразу. Прошелся туда-сюда меж  
деревьев. В импортном плащике до колен, короткополой  
и крепкой шляпе и новых, почти неносеных броднях он  
выглядел как иностранец, приехавший посмотреть, как  
тут дела обстоят иначе с лесом. Удостоверившись, что  
неплохо, откинул полы плаща и бережно опустился,  
подстелив под себя пласт еловой коры.

— Пооттай маленько, — сказал Владимир.

Руки у Николая стянуло гусиной кожей, и он поднес  
их на кончики огонька.

— Набирайся тепла, — добавил Владимир, — еще один  
створ, обуздаем его — и к дому.

Глаза Николая угрюмо уставились в желтое пламя,  
в груди что-то скорбно переместилось, и он почувствовал  
к Шмонину скрытую ярость, точь-в-точь к мучителю  
своему, с которым бы лучше ему не встречаться.

Владимир понял его состояние, помотал участливо  
головой и сказал с желанием успокоить:

— Ухойдакался, мытарь! Устал! От меня устал, от  
работы, от непогоды. Но пуще всего устал от себя.  
Нервишки подрастрепались. В них все и дело. У тебя  
они еще ничего. Иные мытари-первогодки к концу экспе-  
диции лезут прямо в кишку. Перелаются меж собой.  
Думаешь всё: враги навсегда. А отдохнут друг от дру-  
жки какой-нибудь месяц — и снова мир, снова лад, лучше  
приятелей не отыщешь...

Костер пригревал. Полыхал он под нависью елки,  
и дождь обходил его стороной, потому и сидеть, поедая  
хлеб и кокая яйца, было уютно, как в кухне крестьян-  
ской избы, в которой топится русская печь и знойно  
трещат малиновые поленья.

Резина сапог поднагрелась, и Шмонин отсел от огня  
подальше. Берег свои бродни. Были они в пластырях  
и заплатках, со сношенной плоской подошвой, давно бы  
их можно выкинуть, да не смеет: привыкла нога, как  
привыкает хозяин к родному дому, намереваясь в нем  
жить до конца.

Владимир провел рукой по лицу. Было ему тепло  
и приветно. Радикулит беспокоил самую малость, как

бы шутя вонзая свой коготок в желобинку спины. Утешало Владимира то, что в лесу ночевать не придется. Спасибо Коцубе. Не побоялся. Рискнул искупаться, как настоящий мурманский морж. Владимир задумчиво улыбнулся, опуская лопатисто-плоскую руку на твердое, как сторожок, колено Коцубы:

— Ты все-таки славный мытарь!

Дождь повернуло с тучами вдоль реки. И опять замелькали сухие снежинки. Осторожно, с оглядкой, пятилась осень, спускаясь вместе с дождем по течению Белой. Зимы еще не было: рано, однако, она угрожала октябрьским подзимком, который старался всю пока-зывать удалой норовок.

— Ночью замерзнет,— заметил Шмонин.

— А днем растает,— прибавил Коцуба.

— Скорей бы зима-а!

— Чего в ней хорошего?

— В отпуск уйду,— открылся доверчиво Шмонин,— поеду с сыном под Вологду, в Мѳнзу. Там родина у меня. В каждый декабрь туда уезжаю. Ни отца, ни матери нет, а тянет.

— А меня вот не тянет.

Подивился Владимир:

— Это на родину-то не тянет?

— Иичуть.

— Но такое не может быть?

— Может.

— Тогда я что-то не понимаю?

— Родина для меня,— объяснил Николай,— не там, где я жил, а там, где живу и где жить собираюсь.

Шмонин даже расстроился. Не за себя — за Коцубу:

— Родных, что ли, нет у тебя?

— Дело не в этом. А в том, что родне своей я не рад. Не нравится мне она, да и только...

— Ладно,— Шмонин поднялся,— поговорили. Пора и за дело. Сможешь еще раз?

Николай побледнел:

— Это чего? Искупаться?

— Ну да?

— Смогу не смогу, но ведь надо!

— Гляди! Насильно не заставляю.

Шмонин ушел к залому, чтоб перейти на ту сторону Белой, а Николай, прихватив трос и рейку, направился вдоль реки.

По склону до самой излучины тянулись желтые оползни глин. Николай в них увяз и, вырвав с хлюпаньем бродни, вернулся в ольховый редняк, которым поднялся до темной стены борового леса.

Внизу, меж деревьев, было тихо. Вверху же плыл ропот высоких вершин, словно хор голосов из былого. Лес был нетронутый, весь замшелый. Для него продолжалось минувшее время. Тяжелые лапы кивали земле, словно приметив на ней своих старых знакомцев — каурых с дровами и дюжих крестьян, одетых в лапти с онучами и кафтаны. Лес Николая всегда почему-то смущал, заставлял озиаться и чувствовать в нем себя неприютно, как на оставленной всеми земле.

Выходя на визиру, Коцуба морозно одрог. За ним сквозь ломинник сучков наблюдал осторожный и темный, налитый строгостью глаз. «Лось!» — узнал Николай.

— Расплодилось вас, мало стреляют,— буркнул, оглядываясь назад.

Шмонин пришел к гидроствору первый. Успел запалить костерок и, скрываясь за клочьями дыма, бодро помахивал рукавом:

— Давай-ко! Давай!

Николай бросил рейку и перебрал ладонями трос, готовясь метнуть его за реку. Вид реки с буреломными берегами, вид Владимира у костра отозвался в душе Николая желанием сделать что-то намеренно плохо, что-то неправильно, наперекор. Кидая трос, он не вложил достаточно силы.

Плеть кривым полукругом пробила воду, чуть-чуть захватя середину реки.

Шмонины будто кто вытолкнул из пожара. Розоволицый, с дымом и искрами на плечах, сделал несколько спорых шагов, схватился за голову:

— Второй-то конец хоть у тебя?

В мутной воде, в двух шагах от Коцубы виднелся тот самый конец, о котором спрашивал Шмонин. Николай разогнул проскрипевшие бродни, ступил в глубину, наклонился и туло усталось в воду.

— Что-о? Нашел?

Николай прогреб каблуком по дернистому дну. Вода взбаламутилась. Он опустил в нее руку, но тут же и вынул.

— Чего-то не вижу,— выдавил сквозь пересохшие губы.

Владимир отрывисто плюнул, как щелкнул рукой по щеке, и Коцуба почувствовал кожу лица, по которой скользнул нехороший румянец.

Убрав руки за спину, где болтался замурзанный хлястик плаща, Шмонин ходил вдоль воды, выбивая ногами веники брызг.

Владимир досадовал на Коцубу, который так странно вдруг утопил мерный трос, и с него ничего не спросишь, потому что он сдал нервишками, растерялся.

— Какой ты, ей-богу, мытарь! — выкрикнул Шмонин с сердцем.— Не мог уж бросить по-человечьи!

Коцуба принял упрек без обиды, ибо почувствовал: этим у них и закончится съемка. «Значит, домой!» — отметил с тайным довольством, сторожко кидая взгляд за реку.

Шмонин ходил и ходил, жирно чавкая сапогами. Даже кепку стащил с головы, нервно смял ее в плоских пальцах. Вынашивал, видимо, мысль, да она не давалась, лишь раздражала его, заставляя вздыхать и плевать. Коцуба сочувственно улыбнулся, увидев вдруг в нем неудачника от природы, которого будет всю жизнь обманывать подчиненный, ругать жена, допекать начальство, а он останется все таким же — неисправимо старательным, работающим, готовым сделать как за себя, так и за каждого, кто справиться с делом своим не может.

Еще раз взглянув за реку, Коцуба заметил, что Шмонин клюет папиросиной в огонек. «Вот выкурит, и пойдем! — догадался и сам достал «беломорину», обмакнул в пламешок зажигалки и, затянувшись, подумал: — Все это мелочь. Маленькие детальки. Переходики к главному. А главное что? Для меня оно — не топтаться на месте. А для Шмонина?» — начал смекать, но опешил, зажмурился, как от костра, и бледность пошла по лицу, а глаза под белесыми бровками заматались, еще не веря, что Шмонин, скинув брезентовый плащ, расстегивал лыжную куртку.

Разоблачающе явственно, изогнувшись, точь-в-точь молодая змея, виднелся кончик трехжильного троса. Лоб



у Коцубы произошло потом, а на виске, колыхая ступеньку волос, тяжело заворочалась жила. Нога механически сунулась вглубь, пропахала дернину и шаркнула так брезгливо и знобко, точно и в самом деле пнула змею. И в ту же секунду Коцуба потерянно обернулся, тараща глаза на мертвую елку, как на свидетеля за спиной, который все видел и все запомнил.

Мелькнул серебристый бочок зарытого в белое солнца, чуть-чуть подразнился и снова пропал в облаках. Шмонин, раздетый догола, с иссиня-серой куриной кожей, подняв по-мальчишечьи краешки плеч, вбежал в холодную воду, как в кипятки. Гоготнул на все побережье и суматошно захлопал руками.

Плыл он быстро, стараясь не дергать шеей, чтоб обмануть острый коготь радикулита, вцепившийся в самые чуткие нервы спины. Добравшись до стрежня, он жадно вздохнул и пошел в глубину, до боли в глазах прорезая распахнутым взглядом овсяную тусклую муть. Вынырнув, силно потребовал:

— Рейку! Рейку!

Коцуба пустил ее вплавь, сам же весь побелел, под горбато понуренным носом дернулся рот, и Шмонин сквозь глухоту налитых водою ушей разобрал:

— Может быть, я? Я, Володя?

Отплывая назад, Шмонин левой рукой подталкивал рейку, правой — волок упиравшийся трос. Все же сильно ему повезло. Наткнулся на трос, точно знал, где он есть. А мог бы и промахнуться. Что бы тогда? Нырять второй раз? «Интересно,— подумал он, выходя к дымившемуся костру,— сколько времени можно терпеть студеную воду? Мне бы минут десяток...»

Ах, как был благодарен Владимир костру, в грёве которого он работал, прикрепляя к рейке скользкий булыжник, а потом, собирая в плетения трос, чтоб швырнуть его Николаю. Все это делал он так хорошо и так аккуратно, что в душе шевельнулось чувство радости за себя, как за серьезного человека, который был и будет во всем надежен.

— Записать-то хоть сможешь? — спросил у поникшего инженера.

— Смогу.

Коцуба стоял на ветру. Зыбкая складочка губ, пикетажная книжка в трясущихся пальцах, залитые хворью

глаза — весь его вид объявлял о нелепой ошибке, из-за которой он занимается тем, чем должен бы был заниматься его начальник. «Раненько все-таки я сломался,— подумал Коцуба,— не рассчитал...»

Николай отводил глаза от реки, а они мимовольно косились на всплески, с какими Шмонин упорствовал с Белой, крутясь в воде, будто загнанный зверь. Мелькали деления рейки. Руки, ноги мелькали. И снежинки мелькали, падая в желтую воду.

Голова у Коцубы и легкая и сухая, будто кто напихал ее сеном, сквозь которое остро, как вилы, тыкалась страшная мысль: «А если он заболит, да так, что долой с копылок? Что мне? Тащить его на загóрбке?»

Шмонин вылез на берег, белый, как луб, с желтым листочком, прилипшим к мокрому уху. Сунул рейку к ногам Коцубы:

— Отвязывай да пошли!

Коцуба присел на колени, вцепился руками в узел узкого с бронзовой пряжкой ремня, развязал его, пнул отвалившийся камень и услышал глухие шлепки, с какими Владимир поплыл за Белую одеваться.

Пролетел невдали резкокрылый, удаленький ястреб, и в темени елок, куда он мелькнул, раненно взвизгнул мелкий зверек. Коцуба поднялся, обвел тоскующим взглядом голову Шмонина на воде, облетевший кустарник и мертвую елку на берегу, сухо сеявшую в траву розовые иголки. Все вокруг охвачено было чем-то свершившимся, поздним, усталым, точно природа, как человек, не умея скрыть своих чувств, переживала тяжелую неприятность.

Никто Николая не гнал, но он торопился. С рейкой под мышкой и петлями троса на шее, он шел суетливо-частой походочкой человека, которого мучает неизвестность. Обойдя визирой и лесом топкие наливни глин, спустился к реке. И тут, возле зыбкой осиновой переправы, приснеженных сучьев и блеклой травы, егохватило сквернейшее чувство. Давно ли он был жизнерадостен, весел и горд! И вот на душе охоложено и побито, как в нежилом заколоченном доме, куда не решаются заходить.

На той стороне, над кустами возникла серая кепка. Потом и лицо. Пробирался Шмонин через ломины, да так неуверенно, неуклюже, точно нес на спине болезнь,

И еще нес суровую неизбежность, с какой он скажет Коцубе несколько слов, от которых оправиться будет не просто. Вот он взлез на брюхато-морщинистый комель. Хлопнули ветки. От них по воде побежали косые усы.

Слезая с осины, Шмонин так пошатнулся, что плащ громыхнул ледяной полкой, будто листом железа по крыше.

— Теперь бы нам в баньку! — взглянул на Коцубу из-под разъехавшихся бровей. — Пихтовым бы веником похвостаться!

— Веником?! — растерялся Коцуба, и лицо его покраснело, как у подростка, которого, вместо того чтобы отругать, неожиданно похвалили.

— Костер разведу! Согреешься! Это недолго! — Николай зашарил рукой по карманам короткого импортного плаща, извлек зажигалку, приноровясь запалить березовый скруток коры. Но Шмонин остановил:

— Брось. Не надо. Согреемся на ходьбе.

Перелом, когда день переходит в вечер, настал, и в далях, которые открывала река, наметилась серая дымка. Закурились кусты, погустела вода. В надречном ольхово-березовом редняке легко и воздушно качнулась сторожкая мглистость.

Мглистость сүтемью обернулась, едва зашли изыскатели в ельник. В сомкнувшихся высоко над просекой кронах чуялось что-то ночное. Пахло еловой корой. Крепко пахло. словно лес отдавал свой запах геодезистам, чтоб они им до радости надышались.

Шаг у Коцубы порывист и сдержан. Мог бы идти и быстрее, да нельзя: впереди мешкотливый Владимир.

Все было так, как и в первые дни изысканий, когда Коцуба ступал за Шмониным по тропе, видел его неширокую спину, шею в морщинках и круглый, в плетеных серых волос затылок. Видел и проникался к Шмонину интересом, как к бесподобному мастеру изысканий, дорасти до которого так он хотел! И дорос. А что на поверку? А на поверку вышло, что этого мало. Потому что по-прежнему он испытывал к Шмонину интерес, но уже не как к изыскателю — как к человеку, который умест брать на себя не только свою, но и чужую работу, и выполняет всегда ее до конца.

— Володя! — окликнул Коцуба с заботой. — Давай понесу треногу. Ведь тебе тяжело?!

Оглянулся Шмонин:

— Таким, как я, тяжело не бывает,— и перекинув треногу под левую руку, направился дальше, сам удивляясь тому, что после купанья его не карало, лишь зябли ноги и голова, да в спине ощущалась тупая неловкость, точно сидел на ней кто-то ненужный, кого хотелось немедленно снять, чтоб идти распрямленной походкой.

Позади хрустели лапки брусничника — шел Коцуба. «Славно мы с ним потрудились»,— думал Владимир. С рюкзаком на спине и треногой под мышкой, он шагал и шагал, стеклянно звеня ледяными полами плаща. Шагал сквозь ельник, потом сквозь болото, затем сквозь пустынную черную гарь. Все бы было еще ничего, да почему-то вдруг стало сбиваться сердце. Не слишком ли рано? Ведь ему и всего-то тридцать три года. Коцубе вон двадцать семь, а выглядит вдвое его моложе. Шмонин задумался: «Отчего?» Не оттого ли, что брал на свое совестливое сердце больше, чем надо, и вот оно робко взмолилось: «Дай отдохнуть». А может, еще оттого, что жил в напряженном и нервном темпе, всегда суетился, всегда спешил и не заметил, как вышел за собственный возраст, оставив его далеко позади.

Шмонин взглянул на тропу, уводившую в смутные елки, в которых пряталась ранняя ночь. «Еще километр»,— прикинул и тут ощутил, что стало ему свободней и легче, благо прошли перебои в сердце. «Ну вот и порядок»,— вздохнул Владимир и чутко прислушался, как неровно и грузно ложились на землю шаги. Шаги не только его, не только Коцубы, а еще и других, очень многих невидимых, но ощутимых людей, которых так просто представить в лесных потемках. Шаги раздавались справа и слева, сзади, спереди — отовсюду. Шмонин рассеянно улыбнулся, в груди его тонко заныло, и он испытал сострадание к каждому, кто сегодня не дома, вдали от семьи, кто озяб и устал, кто растекся в великом просторе немеренных русских земель.

Иван Полысаев парень как парень — не так уж бойкий, не так уж смирный. И видом обыкновенен: коренаст, лицо круглое с широким и толстым носом. Вернулся в деревню два года назад с далекой сибирской стройки, где ему что-то не приглянулось.

Дсма встретили хорошо. Мать для него — застолье, колхоз — трактор из капиталки. Добро работал Иван. За два года две премии отхватил. Но с прошлого лета начал скучать. Часами просиживал у окна и тоскующим взглядом окидывал деревушку. А в ней пятнадцать домов, ни магазина, ни Дома культуры. Но это все ничего, за продуктами или в кино можно сходить, на худой конец, и в большое село Покрово. Вопрос заключался в том, что не было для Ивана ни в своей, ни в ближайших трех деревнях ни одной подходящей невесты. Были, правда, из перестарков. А самые молодые учились в Покровской школе. Не ждать же, когда они подрастут и войдут в совершенные годы.

— Уеду, наверно, от вас! — сказал однажды механику Мише Гладкову.

Миша, мужик обидчивый, хитрый, уважал только тех, кто худо живет и ищет выход из трудного положения. Посмотрев на Ивана синими, с льдинкой глазами, легонечко рассмеялся:

- Не рыпайся, парень. Никуда не уедешь.
- Чего-то тебя не пойму? — удивился Иван.
- Нече тут понимать. Не отпустят — и все.
- Меня-то отпустят.

Через день после этого разговора Иван стал собираться в дорогу. Мать, не зная, как сына отговорить, охала

и вздыхала. А потом по ее лицу порхнула улыбка надежды:

— Оставайся-ко лучше, Ваня.

— Нет уж! — ответил сын. — Бобылем боле жить не намерен.

— Хоть бы кроху помеледил.

Насторожился Иван:

— Это что? Подождал бы, что ли?

Над губами у матери жалостные морщинки:

— С неделю, не боле. Я б такую невесту тебе сыскала!

Иван стоял над распахнутым чемоданом и мямля ладонями полотенце:

— Невесту! Хэ-э? А где ты ее возьмешь?

— А уж это моя забота. Твоя забота: сидеть и ждать.

...Ждал Иван, зная надежно, что мать никого не отыщет и вернется домой одна. Но все-таки ждал, ибо где-то у самого сердца теплилась мечта: а вдруг приведет такую, что глаз не отнять?!

Мать с котомочкой за плечами и палкой в руке исходила весь сельсовет. И в соседний зашла. Вернулась дней через десять. Вдвоем. Ах, как было Ивану стыдно, когда увидел ее! Девушку звали Машей, была она низкорослой, в продолговатых серых глазах сияли растерянность и смущение. Подумал Иван: «Ведь стесняется-то меня?! А чего бы меня стесняться?»

Вскоре свадьбу сыграли — скромную, без гармошки, без пляски. И зажили молодые, оба довольные тем, что так просто и быстро сложилось у них семейство.

Жена оказалась на редкость покорной. Что ни скажи — со всем согласится. Куда ни пошли — обязательно сходит. И все улыбочки посылает — чуть виноватые, тихие, а в серых ее глазах такая преданность мужу, такая любовь, что Иван готов уже думать: «А может, в сам деле я парень занятный?! Может, встретиться бы мне девушка покрасивше и тоже бы эдак глядела...»

Один раз явился домой пьянее вина. Напоил его Миша Гладков, которому он привозил на тракторе сено. Миша — первый в деревне завистник. Держит зависть ко всем, кто лучше его живет. Сам с женой ссорится в каждую из получек, того же желает и остальным. Провожая Ивана, Миша лживым голосом говорил:

— Вот теперь и проверишь свою Марийку! Какая она пила: продольна али поперечна?

Иван немного смутился:

— При чем тут пила?

— При том, что будет тебя пилить. Сначала вдоль, потом поперек.

— Меня?

— Тебя, Ванюха, тебя. Все одинаковы они. Нет у них снисхождения к нашему брату.

Отворяя дверь, Иван увидел жену и приготовился слушать упреки. Но Маша с упреками не спешила. Иван сел за стол и намеренно грубо:

— Еды!

Машенька в две минуты заставила стол. Насытись, Иван развалился на лавке, вытянул ноги на половик, показал на грязные сапоги:

— Сымай!

Жена тотчас же сняла сапоги, нашла валенки на печи, поставила перед Иваном. Но он на них не взглянул. Нахмури светлые брови, спросил:

— Почему не пилишь меня?

Машенька улыбнулась:

— Чего это, Ваня? О чем это ты?

— О ругани, вот о чем! Пьяных-то мужиков небось все бабы ругают! А ты?

Прижала Маша ладони к груди:

— А я, Ванечка, не умею... Да и ругать-то тебя за что? Ну выпил. Ну мало ли. С кем не бывает?

Иван смутился, вздохнул и, опуская лицо к коленям, растерянно пробубнил: «Сумерки, сумерки в голове... Кого обижаю? За что?»

...На днях он сильно простыл. Ездил на тракторе в лес, поел с поту снега и вот пятый день лежит дома с температурой. Сегодня легче ему. Хочет встать. Но мать, подступив, грозит указательным пальцем:

— И не вздумай, Иванушко. Лучше маленько переждать.

Иван берет со стула журнал, от нечего делать листает. Слегка оживился, заслышав шаги жены. Та пришла со двора. Коренастая, в ватнике, с алым от стужи лицом, заглядывает к нему:

— Чего бы ты, Ваня, поел? Яблочков, может?

Иван загибает страницу журнала.

— Не, яблочков не хочу.

— А топленого молочка?

Иван разгибает страницу.

— Не надо и молочка.

— А компоту?

Иван вновь загибает страницу.

— Ну его...

— Ты, Ваня, ежели надо чего, говори...

Ничего Ивану не надо. Он сыт-пересыт, да и неловко ему, что ходят за ним, как за малым ребенком. Чтобы избавить жену от забот, придумывает такое, чего достать в деревне нельзя.

— Огурцов свежих желаю! — сказал, и глаза его заблестели, следя за женой, как та затянула узлом концы полушалка, как виновато и ласково улыбнулась, надела вместо фуфайки пальто и скользнула за дверь. Иван спохватился:

— Ку-у-да?

Но Машенька не слыхала.

Из окна, освещая экран телевизора, плыл полуденный свет. Дышалось легко, и, как у всех поправляющихся людей, в голову шли приятные мысли. Мысли о доме, о Машеньке, об удачно сложившейся жизни. Не знал Иван: чего еще можно себе желать? То, что есть у него, все в самом хорошем виде: молодая жена, изба с огородом, слава первого тракториста.

Из кухни слышался мягонький треск — это мать голиком подметала половики. Потом уркнули петли. Не раздеваясь, прямо в пальто, воротник которого от мороза, будто береста, подошла к кровати жена. Иван удивился: в руках у нее огурцы. Машенька улыбнулась:

— У Блиновых достала! К ним из Вологды Коля приехал. Ешь-ко давай!

Иван любил огурцы, но только в соленом виде, да и то после стопки с вином. Однако обидеть жену не посмел. Стал есть, похваливая:

— Ну да и овощи! Ну да и слáдки! Прямо не оторвешься!

Заглянула из кухни мать — маленькая, с личиком как яичко:

— Олашек, Ваня, испечь?

— Не надо, — ответил Иван и перевел глаза на жену, умоляя ничем его больше не угощать. Но жена не заметила взгляда и предложила:

— А городского батона?



— Не хочу, не хочу...

Мать и Машенька вместе:

— Чего тогда хочешь-то, Ваня?

Иван насупил светлые брови.

— Чего хочу-то? — сказал, снова прикидывая в уме то, чего невозможно найти в деревне. — Хочу ягодок из-под снега... — И уставился на жену. — Коль жалеешь меня — принесешь.

Машенька поискала пальцами пуговку на пальто и смущенным голосом:

— Значит, ягод?.. Мороженных?.. А у нас их, кажися, нет. Ежели от соседей...

Иван шевельнул головой, и подушка стронулась с места.

— От соседей не надо. Хочу, чтобы ягоды пахли зимним болотом. Я в журнале вычитал. Пишут, что помогает.

Дверь в кухню была открыта, и Иван наблюдал, как собиралась его жена. Сменила пальто на фуфайку, достала с полатей корзинку, вздохнула и робко ступила через порог. От захлопнутой двери вздулся волнами полковик, и холод дошел до Ивана.

— Може, Ваня, вернуть? — спросила встревоженно мать.

— Сама вернется.

— А ежели не? Ведь на глупое посылаешь! И она-то глупая... Ну-ко пошла?!

— Говорю, вернется! До лесу дойдет — и назад. Прогуляется хоть немного...

Было три часа дня. Солнце светило нехотя, по-стариковски. Падали реденькие снежинки. Показалась жена. Вот зашла за забор, поскользнулась, выронила корзинку, подняла и снова пошла. Далеко пошла, по снежному полю, за которым синел осинник, а за ним дымился расплывчато-серый, во мгле пропадающий горизонт.

Иван поднялся с постели и с тоскливо занывшим сердцем стал ждать возвращения Маши. Долго смотрел он в окно, за которым мохнато и густо падал медленный снег, и день сузился, поугрюмел. Ивану стало обидно. Ну почему, почему она такая покорная и не может ему возразить?

«А я этим пользуюсь, и, кажется, не впервой».

Иван торопливо оделся. Снял со стены ружье. Напихал в карманы патронов. Мать, грозя указательным паль-

чем, что-то советовала ему, но он не слышал ее советов. Уже из дверей обернулся:

— Ты тут ничего такого не думай. Мы скоро!

Огородной тропой прошел к изрезанной колеями дороге. Снег спускался крупными хлопьями и похож был на плывшие с неба цветы.

«Вот баба! — думал Иван. — Неуж вправду ушла на болото? Ведь я пошутил. Черт! Шутки не понимает...»

Возле опушки зимняк разбегался на две дороги. Обе вели к болоту. Одна — к правой его стороне, вторая — к левой. Какой дорогой идти? Иван пошагал по более торной.

В прогале стволов прокатился широкий вздох, будто кто-то большой и печальный томился там, не видя выхода на дорогу. И Иван, задержав дыхание, вслушался в тишину. И с этой минуты при каждом замнившемся звуке стал останавливать шаг и, щуря глаза, смотреть в сторону от дороги. Смеркалось. По хвойным ветвям скользили зеленые тени, когда увидел вблизи болото. Снял со спины ружье.

Страшный треск прокатился по лесу, словно кто-то одним мощным взмахом обломал все вершины и ветки. Иван вытянул голову. Ждал, чутко вслушиваясь в едва различимый шелест иголок, по которым лениво и мягко осыпался ноябрьский снег. Болото тянулось на километр, Иван шел вдоль него, крича и стреляя. Когда все патроны перестрелял, остановился и понял, что Машеньку ищет зря.

Он повернул назад. Лес казался загадочным, темным, малопонятным, как дно омута, в котором совсем недавно утонул человек. Чем скорее Иван выходил из леса, тем сильнее работала мысль: «Подыму деревню. Пусть ищут!»

Он вернулся к развилке дорог. В поле дул резкий ветер, перемещая с места на место метельные толпы снегов. Сквозь гул непогоды доносилось конское ржание. Иван забрел в сторону от дороги, прислонился к пряслу спиной. Долго стоял, долго думал. Две женщины, две родные. Одна на болоте, вторая в избе. И он, как неприкаянный, между ними. И ни к которой нельзя прийти.

Иван сделал неловкий шаг. Вгляделся в несущийся белый рой. И вдруг... Всю его грудь захватил мужицкий радостный трепет: по дороге, которая огибала болото справа, с корзинкой в руке торопилась Маша. Была она

вся в снегу. С посиневших от холода губ срывались слова:  
— Ваня, уж ты не серчай. Этот снег!.. Из-за него я маленько заплутала...

Иван отобрал корзинку и вдруг почувствовал, как грудь его сладко-сладко заволновалась. Он улыбнулся, обнял Машу за плечи и удивился, увидев в ее глазах не укор, не обиду, не обвинение, а кроткую женскую благодарность.

— Неужто ты на меня не злишься?

— Не за что, Ваня.

— Как не за что, ежели я сгонял тебя на болото?

— Ну дак и что! Я и сходила. Клюковки принесла. Ведь ты же просил, чтобы пахла она зимним болотом...

## Непредвиденный случай

Кассир колхоза «Сигнал» Владимир Петрович Севакин сидел за столом с выражением человека, которого вот-вот должны были чем-то расстроить, но он не расстроился, а напротив — участливо улыбнется, и этим покажет свое превосходство над каждым, кто попытается с ним разговаривать грубо. Сегодня Владимир Петрович премии выдавал, потому имел должностной, строгий вид, с каким было легче обороняться от бесконечного «почему?». Обыкновенно в каждую из получек колхозники обращались к нему, как к нейтральному человеку, приглашая, если не к спору, то к срочной поддержке чьей-нибудь обижаемой стороны. Но он от этого уклонялся. За многие годы сидения за столом Владимир Петрович усвоил, что спорить, поддерживать, горячиться — только терять драгоценное время, расходовать нервы и восстанавливать против себя народ. Севакин хотел жить со всеми, как посторонний — не дружелюбно и не враждебно, в чужие дела не соваться и в свои — стараться не подпускать. Чтоб не быть кому-нибудь благодарным. Ибо где благодарность, там и зависимость от других, чего Владимир Петрович пуще всего опасался.

Опираясь локтями на деревянный барьер, колхозники с ровной скукой оглядывали кассира, который сидел, приводя в движение дверцу тяжелого сейфа, массивные счеты, коробку с монетами и бумаги. Нарукавники ездили по столу, совершая сложнейшие повороты. Владимир Петрович спешил. Серая шелковая рубаша, подпирившая подбородок, проворные пальцы больших белых рук, быстрый взгляд увеличенных в несколько раз очками продолговатых неверящих глаз говорили о занятости кассира, кото-

рого лучше не отвлекать. Однако колхозники забывались. В тесной прихожей перед барьером средь папиросного дыма плавал рокот прокуренных голосов. Рокот стихал, лишь когда раздавался вопрос. А вопросов было немало.

— Баба боле меня получила! Что я, хуже ее?

— С каких это винтиков удержали?

— А почему, едри твою телку, содеяли без меня?

Вопросы ставились грубо и прямо, и все внимали словам кассира, который, блестя очками, сочувственно улыбался и ровным голосом объяснял:

— Так, стал быть, надо. Ежели не согласны — жалуйтесь, но не мне. А что касемо денег, то, как хотите, можете вовсе не получать.

Получали, естественно, все и, выходя на крыльцо, где погуливал ветерок с редким сеевом снега, давали волю словам.

— Сколь, Ивановна, отхватила?

— Десять красивых!

— Чего на них заведешь?

— Да хотела бы в горенку шкаф.

— Доплатить, гышь, придется?

— Не без этого, Олексан. А ты, бают, целиссе на куфайку?

— Угу! На этой-то вон! — колхозник гладил рукой по заплатам. — Фатерантов полно.

— Гли-ко! Кто это там? Никита Пепляш?! Ишь, выступает, ровно по досточке через лужу. Рад-перерад!

— Ему, гляда, в премии отказали.

— Из-за чего?

— Худо излаживал скотной двор.

— Не мели, Олексан. Скотный двор для отвода глаз. Из-за другова ему отказали.

— Эко? Я и не знал.

— Он Митьку Гурина осадил. Митьку-то в председатели метили вместо Серкова.

— Ай да Пепляш! Так бахвалу и надо! А где осадил?

— На отчетном собрание. Гурии речь говорил об том, что надо роботать лучше да больше. Говорил кудревато, под кажжое слово «мы» подводил. Все навыхвалку, все показать, как радеет он за колхоз. «Мы примаем... Мы отдаем... Мы боремся... Мы выезжаем...» До тово домыкал, что Никита возьми его и подрежь. Встал в усерёдке зала да и скажи: «Хорошо, Димитрий Андреевич,

выежжаешь, да только на чьем горбу?» Гурин губами зашлепал, ни бе ни ме не может сказать. А Никиту ровно кто за язык торопит. Давай на весь зал объяснять: «На нашем! На трудовом! Был бы, Димитрий Андреевич, ты полегше, ладно бы, едь и дале. А ты тяжелёхонёк! Не жалеаем!» Гурин и осердись. Взмахнул руками на Пепляша да задел рукавом за стакан. Вода и вылейся на бумаги, с коих он речь-то свою говорил.

— Ну, а дале?

— А дале стали голосовать. За Гурина сорок четыре руки подняли, а за Серкова — все сто.

— Митька этова не забудет. Мстеца у него. Устроит Никите.

— Устроил уже! Севякин мне говорил: Пепляш на премии сотенку потеряет.

Послышался хруст, сопенье и бодрый окрик:

— О чем, дерн домовый, базарим?

К конторскому, в восемь ступенек, крыльцу подошел Никита Пепляш, краснолицый мужик, от шеи до пят утонувший в приталенной шубе.

Перемигнулись колхозники:

— Али тебе денег надо?

Пепляш улыбнулся:

— И очень много!

— На какое обзаведенье?

— На ящик стервоголовых.

— Куда тебе естоль? Запьемсе!

Никита прищурился:

— Вместе-то с вами?

— Неуж пировать пригласишь?!

— Приглашу!

— А когда?

— Завтре, к пяти ноль-ноль подходите...

Пепляш протопал по мерзлым ступенькам крыльца, открыл в бухгалтерию дверь и, как всякий колхозник, кто уважает служащих при конторе, снял для приличия шапку.

Народу было немного — две пожилые доярки, шофер бензовоза, скотник да пилорамщик. Никита встал за белой, в опилках, спиной. Через минуту от шубной овчины сделалось жарко, и он распахнулся.

— Где экую роздобыл? — спросил пилорамщик, упершись взглядом в его одежину.

— В городе, Миколай,— ответил Никита,— у мастера Каляды.

— Он что? Портняжит?

— На свой риск и страх.

— Адресок не подскажешь?

— Ужо, Миколай,— остановил мужика Никита, видя, что их разговор караулят другие, и облысевшей кроличьей шапкой хлопнул по шубному рукаву, сбивая с него соринку.

Шубу Никите сшили неделю назад, а уже каждый третий в деревне колхозник пытался выведать у него: кто брался шить, дорого ли платил и нельзя ли еще смастерить такую? Адрес портного Никита не говорил. Не хотел подводить хорошего человека. Но расспросчиков было так много, что Никита сходил к Серкову и предложил:

— А что, коли мы у себя в колхозе откроем портняжную мастерскую и нашлем для колхозников шуб? Слава богу, овчины хватит.

Председатель взглянул на Никиту, как на опасного шутника, и посоветовал эту затею оставить.

— Что же? — смутился Пепляш.

Серков объяснил:

— Нэпом пахивает. А нэп похоронен у нас на века. Возрождать же его нам с тобой никто не позволит.

Никита заволновался:

— Кабы мы торговать, а то про себя! Одели бы всех в шубняки, и только!

— Нет! Нет! — отрезал Серков.

Досадно Никите. Не успела идея возникнуть — тут же с ней и простись. Как встречаться с людьми? Все колхозники ходят в фуфайках, он же, как исключение, — в шубе. Вот и теперь, когда пилорамщик спросил у него адресок, Никите сделалось неловко, точно он был человеком особых статей, кому одеваться положено лучше. Был Никита придиричивым мужиком и злился на каждого, кто выделялся, норовя показать, кто я есть. Теперь из-за этой треклятой шубы сам оказался как выделенец.

Слушая щелканье гладких костяшек, Никита ткнул пилорамщика в бок и, когда тот к нему повернулся, сказал:

— Завтре полста разменяю.

— Рублей?

— Лет, дери домовою.

— Ну и чего?

— Приходи, заодно адресок узнаешь.

Пилорамщик кивнул, просыпав с шапки струйку опилок. Пепляш ободрился, забыв на минуту про шубу, и перекинулся думой в завтрашний день, на свои семейные именины, на которые он пригласил едва ли не весь сельсовет. Правда, свёсела пригласил, несерьезно и мимоходом, полагая, что многие не придут. А если придут? Если придут, то не хватит и двух получек. Это Никиту, хотя и смущало, но не расстраивало нисколько, потому что он жил сегодняшним днем, не имея рублей на сберкнижке, и знал надежно, что мир не без добрых людей. Кто-нибудь да из них поможет. А сегодня и помощь даже излишня, ибо премия подвернулась, награда за пот, за усталость, за напряжение, какими был переполнен прожитый год, когда ему, как колхознику-разнодельцу, приходилось пластаться на самых тяжелых работах, куда не каждый охотно идет, оберегая себя от износа.

Пилорамщик, пихая деньги в карман, отошел от барьера. Никита придвинулся на шаг. От массивных счетов поднялся коричневый нарукавник, а вместе с ним и ведомость поднялась, но едва коснулась пальцев Никиты, как тут же нырнула назад и опустилась на стол, прижатая белой рукой кассира.

— Это чего? — удивился Пепляш.

Севякин ответил:

— Раненько пришел.

— А когда не раненько?

— Наверное, через год.

Любопытно стало Никите.

— В чем дело, Владимир Петрович? — Он узко прищурил глаза, испытал к Севякину интерес, как к человеку, который что-то скрывает, не смея при этом поставить себя под удар.

— Как бы это тебе... — замямлил кассир.

— Не бойсь! Никому не скажу! — Никита коротко усмехнулся. Он был вообще любопытен до всех осторожных, кто ухитряется жить, ничем не рискуя. Такие люди, казалось ему, были не лучше больных. Он их жалел. Но жалел снисходительно, с полуусмешкой, как жалеют горьких пропойц, которых исправить уже нельзя.



— На премию на твою наложен запрет,— Севякин чуть сдвинулся на спинку стула, предчувствуя близкий скандал, которого он не хотел, но который, видимо, будет.

— Кто наложил? — Пепляш перегнулся через барьер, и его пронзительно-острый, как ножичек, взгляд полоснул кассира по горлу.

— Гурин,— признался Севякин, чтоб не затягивать разговор, обещавший лишнюю неприятность.

Бригадира Никита нашел в кабинете специалистов. Гурин сидел за раскрытой брошюрой в позе ученого мужика, который занят чем-то серьезным. Увидев его, Никита сказал:

— Я до тебя.

Дмитрий Андреевич не шевельнулся. Был он обидчивым человеком, из тех, кто при маленькой или большой неудаче всегда замыкался в себе, считая, что с ним поступили несправедливо. Гурина было тридцать семь лет. Бригадиром работать ему приелось. Помышляя возглавить колхоз, полагал, что проявит себя достойно. Но проявить не пришлось: подвел непредвиденный случай. После отчетного минуло десять дней, и все это время Гурин отсиживался в конторе, имея вид человека, с которым неправильно обошлись.

— До тебя, говорю, явился! — добавил Никита громче.

Гурин вздохнул, и от вздоха его перевернулась страница брошюры.

— Мог бы не приходить.

— Как это мог?

Гурин погладил брошюру:

— Некогда. Или не видишь?

— А мне наплевать!

Дмитрий Андреевич поднял голову, и его сухое, с морщинками около губ лицо как-то комматно побледнело. Вид Никиты — с его распахнутой шубой, шапкой за пазухой и бровями-кусточками над глазами — был для Гурина неприятен. Не любил он таких людей, которые всюду суются, везде шумят, да еще, колотя себя в грудь, ищут справедливость, как будто так просто можно ее найти. «Ишь пришел, — раздраженно подумал Гурин, — да чего-то еще и диктует».

— Ну, что у тебя? — сказал бригадир, вложив в голос властную настоятельность человека, который может потребовать, как начальник.

— Премию не дают, — пожаловался Никита.

— А ты спросил у Севякина: почему?

— Уж лучше я у тебя попытаю.

Гурин достал из кармана расческу. Продувая зубики, испытал секундное злое блаженство:

— Что-то тебя не пойму?

— И я не пойму! — подхватил Никита. — Кто, интересно, меня на премию выдвигал?

Гурин снова продул расческу, но причесываться не стал.

— Ну я! Ну что из того? Худо, значит, тебя раскусил! — бригадир говорил с улыбкой слегка отомщенного человека. — Ишь какой заявился! Премию дайте ему! А ты заслужил?

Никита потер рукавом лысоватый лоб, силясь вспомнить грехи, какие он натворил за последнее время, но вспомнить не мог, и поэтому огрызнулся:

— Дери домовой, чего ко мне прицепился?

— Сам знаешь! — Гурин снова уставился взглядом в брошюру, выражая этим неодобрение. Выражая не от себя, а от большого колхозного коллектива, чей интерес он был вынужден представлять. — Слышал, как на собрании выступали доярки?

— Очень-то надо.

— Напрасно. Доярки здорово обижались.

— На что?

— На то, что двор плохо на зиму утеплен.

— А я тут при чем?

— При том, что ты двор ремонтировал. По идее я должен бы штраф на тебя накинуть. Скажи спасибо, что не накинул. Ну разве не наглый ты после этого человек?

— Почему это наглый?

— Потому что пришел с претензиями ко мне.

Изумился Пепляш:

— Да я и ремонтом-то занимался всего один день. Потом ты сам меня перебросил на шпалорезку. Забы-ыл?

Спрошено было пренебрежительно, как у мальчишки, который на днях наблудил, и теперь предстояло ему за это ответить.

Дмитрий Андреевич покраснел, с гнетущей досадой соображая, что с Пепляшом связался он зря. Все получилось как-то нелепо. Он мстил мужику за реплику на собрании. Но мстил непродуманно, грубо, и вот теперь сам оказался в руках Пепляша. Сердце его застучало. Что будет? Никита мужик разворотистый, может нажаловаться Серкову. Серков же вспыльчивый, будто порох, и с каждым, кто попирает права подчиненных, мог обойтись как с личным врагом. Но больше всего добивало Гурина то, что он оказался неправ и неправду свою должен был переделывать в правду.

Бригадир поднялся из-за стола, сухолицый и сухогубый с загнанной думкой меж бровей. Посмотрел на Никиту, который торчал перед ним, как завернутый в шубу тяжелый вопрос, дрогнул, мигая, и вдруг отчаянно выдал:

— Ладно! Премию ты получишь!

— Неуж? — улыбнулся Пепляш, бросив на Гурина жалостный взгляд.

Бригадир так расстроился, так смутился, что не заметил, как снова уселся на стул, помял кулаками лицо, что-то хотел побыстрее обдумать, но дума в голову не пошла. Неизвестно зачем заглянув в брошюру, он окончательно растерялся и встал. Встал с угрюмой необходимостью как-то загладить свою вину.

— Пошли! — показал Никите на дверь.

В бухгалтерию они ворвались, озадачив кассира. Гурин грубо спросил:

— Почему человеку премию не выдаешь?

Севякин поправил очки:

— Как сказали, так я и сделал.

— Кто сказал? — потребовал Гурин.

— Ты и сказал.

Гурин поморщился:

— Не припомню.

Севякин участливо улыбнулся:

— Выходит, слабая памятьшка!

— Давай без этих, без памятешек, — посоветовал бригадир.

Кассир посмотрел на Гурина с превосходством, как уличающий человек, который мог бы разоблачить, да только это ему не надо.

— Мне что. Получайте. Деньги колхозные — не мои. — И открыл тяжелую дверцу сейфа.

Забирая деньги, Никита весело предложил:

— Ну-ко прикинь. Четыре двенадцать на двадцать пять.

Севякин прикидывать не подумал. Помнил и так:

— Сто три рубля.

Никита достал из-за пазухи шапку:

— Завтре, Пётрович, полста разменяю. В гости тебя приглашаю. Придешь?

Севякин уставился сквозь очки, прожигая Никиту неверящим взглядом:

— А что? Может быть, и приду, коли все будет ладно и аккуратно.

— А ты? — обратился Пепляш к бригадиру.

Дмитрий Андреевич стушевался:

— Разве? Разве ты этого хочешь?

Никита загадочно улыбнулся:

— А ты угадай! — и, открыв проскрипевшую дверь, прошел с перевалочной на крыльцо, за которым, волнуя воздух, летал и кружился мелкий реденький снег. Было вокруг чисто, холодно и сурово.

Сквозь куржаву еловых макушек пробивался жиденький луч. Он скользил вдоль стволов, путался в ветках и, осветив свежую заметь, ложился на санник. В глухом, еще не стряхнувшем с себя снежные нависи лапнике резвились ронжи. Трактор, что продвигался с тяжелым возом, не беспокоил птиц. Серенькие, беспечные, они кружились над санником, то и дело взбивая крылом морозную пыль.

Леха придавил валенком акселератор. Ему было несносно, что вместе с ним смотрит на птиц и механик Горшков. Пусть уж лучше попрячутся в елках.

Леха сидел деревянно, не поворачивая головы. Он вспомнил вчерашнюю пьянку, протекавшую в гараже за слесарным столом. Потчевали нового колхозного механика Горшкова, внушая ему: если, мол, с нашим братом механизатором жить в ладу, то он устроит дело по совести, без всяких расстройств и волнений. Вчера Горшков Лехе пришелся по сердцу. А сегодня он был готов обозвать его «слизким», самым страшным своим ругательством, в которое вкладывал старую месть. Мечь же свою Леха таил годами. С самого детства жила она в нем к каждому, кто его намеренно обижал.

Законного отца не было у него, и находились в деревне такие, кто не прочь был над этим позубоскалить.

— Чуй, выкидок, не ты ли курицу-то зашиб?

— Эй, недоделанный, куда опять разбежался?

Когда так обращались взрослые, парнишка лишь угрюмо пересмеялся, сжимал в бессильной ярости кулачки, косил глазами куда-то вниз и вбочок, словно рассматривал свою худенькую ключицу, и шептал про себя: «Погоди...»

Но когда слышал обидную кличку от одногодков, то весь бледнел, кричал на них хрипленьким голосишком и, схватив что под руку попадет, кидался в драку. Но что он мог сделать против двоих? Трех? Четверых? Не было у него ни братьев, ни закадычных друзей, которые бы пришли ему на подмогу.

Мать его, женщина вялая, изнуренная переживаниями о человеке, который мог бы стать ее мужем, однако не стал, спрашивала, вздыхая:

— Опять-то исколошматили?

— Ну и что! — сразу прекращал расспросы сынок.

Мать свою Лешка жалел. Но сразу становился настоящим, когда она просила его сходить к председателю на дом. Жил Лешка с матерью бедно, часто сидели они даже без хлеба. И мать не однажды говаривала:

— Поди, Лешенька, к Петру-то Ефимычу. Пущай и не записной, а все же отец он тебе. Глядишь, десятку какую и сунет.

Мать подсказывала всякий раз о десятке, так как однажды уговорила Лешку, и тот, сходя к председателю, принес от него смятые в кулачке десять рублей. Деньги эти Петр Ефимович сунул ему с вороватой оглядкой, чтоб не заметили ни жена, ни дочери, ни старая его мать.

— На вот, — шепнул он, — больше-то пока не могу. В иной раз...

Лешка и это запомнил. «Погоди, вот вырасту...» — не раз мысленно твердил он, думая об отце.

Годам к шестнадцати Лешка разматерел так, что едва можно было его узнать. Крепкогрудый, скуластый — прямо мужик мужиком. Глаза только по-прежнему в сторону отводил, точно в чем виноват. Это-то и не нравилось Лешкиным одногодкам. В школе бы вроде вместе учились, в колхозе вместе работали, а вот, поди ж, как был для них посмехом, так посмехом и остался.

Был год, когда Лешка никуда от дому не отлучался: занедужила мать. И его вроде бы перестали трогать. Но однажды пришел он к клубу. Просто так — новости поузнать, подышать одним воздухом с молодежкой. Но только приблизился к палисаду, как навстречу ему поднялись мордатые, рослые, в белых рубахах местные заводи́лы.

— Никак сам выкидок на посиделочку заглянул?

— Ай девок у нас надумал поотбивать?

Этого Лешка снести не мог. Он побледнел, сузившись глазами взглянул на своих оскорбителей, крикнул что-то невнятное и прыгнул в середку белых рубаш.

Драка длилась не дольше минуты. И хотя после нее были подвихнутые в суставах пальцы, Лешка шел домой, впервые примечая красоту травяного заулка, шел, не скрывая победной улыбки.

И было с чего. Васька Кенёнок, первым назвавший его выкидкой, валялся в пыли с разбитой губой. Братья Колюшкины, один с изорванной на груди рубашкой, второй с лиловым синяком вокруг глаза, в стайке визжащих девок рысцой бежали прочь от него.

И уже не Лешкой — Лехой стали его прозывать в деревне. Мстил Леха жестоко. Особенно не щадил «слизких».

В дни загула, когда разбирала лихость, Леха позволял мужикам ломать батоги на своей груди. Надуется что есть мочи, выпатит грудь бугром. «Лупи!» — крикнет. И только треск стоит. Со всех заулков мужики посходятся. Бабы ахают: «Убьете, окаянные!» А Леха кряхтит да знай себе пыжится:

— Лупи! Не жалей!

Петр Ефимович побаивался незаконного сына. На всякий случай он держался от него подальше. А Леха, чувствуя, что председатель не может с ним обходиться, как со всеми, пользовался этим. Он ничего не просил для себя, потому что в любой просьбе видел унижение. Он заявлял о своем желании, кося при этом глазами в сторону, будто и не с председателем говорил.

— Намереваюсь, Петр Ефимович, в трактористы, — потребовал он, впервые в жизни зайдя в председательский кабинет. — Не настроен боле ходить за конями.

И, хотя не было председателю никакого резона посылать Леху на курсы механизаторов, он послал его. «Лучше не осложнять отношений. Пусть уж осваивает профессию, может, остепенится».

Остепеняться, однако, Леха не собирался. Курсы были закончены, трактор получен — работай, казалось, на радость себе и людям. Но Леха пришел в контору опять.

— Слышал, Петр Ефимович, что новый трактор колхоз купил. Желая работать на нем. Надоело на развалюху ездить.

Понимал Петр Ефимович, что надо бы возмутиться, прогнать вон сына-вымогателя. Но вместо возмущения на сыром с дрожащими щеками лице появилась улыбка.

Председатель улыбался, хотя глаза его оставались тусклыми, сонными, без всякого проблеска мысли. Этого Леха и добивался. Ему безразлично было: откажет Петр Ефимович или же согласится. Ему был важен именно этот момент, когда на лицо отца вместо гневного выражения ложилась жалконькая улыбка. И Леха улыбался ответно, но улыбался холодно, испытывая мстительное чувство за свое безотцовское детство, за мать-горемыку, высохшую в напрасных чаяниях и надеждах.

Горшков был моложе Лехи годов на пять. Его трудовая жизнь только еще начиналась. В колхоз он прибыл по направлению.

В первый же вечер механизаторы его угостили.

— Не смущайся, Василий Павлович,— сказали они, — выпьем за легкий день да за лад промеж нас.

Василий и рот было открыл, чтоб отказаться. Но вокруг были такие приятные лица.

Наутро он маялся головой. А тут еще стало ему известно, что Леха Мулькотин, тот самый скуластый парень, который льнул к нему накануне с полным стаканом водки, уехал на тракторе в город. Повез родственницу свою.

Ходил Василий по гаражу молчаливый и злой. Гараж размещался в каменной церкви. Своды ее бежали стремительно вверх. На стенах сквозь копоть и грязь проступали лики святых. Трактористы казались здесь временными людьми.

Один из них, страшно худой, с огромным, в сизых шербинах носом, попытался Горшкова разговорить:

— Полно-ко, Павлыч, тужить. Не лучше ли откусать этого положения,— и соорил пальцами воображаемый полный стакан.

Память механика извлекла из шумливого гама вчерашнего вечера этого бойкого на язык мужика, которого все называли Никиткой. Весь вечер Никитка играл протачка. Но едва ли он был таким.

Горшков посмотрел на Никитку, затем внимательно оглядел куривших тут же возле разобранного трактора мужиков и сказал:



— Понимаю, ребята, хоть вам и тяжело, но сделать ничего не могу.— Чувствуя, что начал неубедительно, добавил: — Дома можете пить, сколько влезет, а здесь все, запрещаю.

Сказал, казалось бы, и жестко, но мужики пропустили меж ушей, как будто это их совсем не касалось. Лишь на тощем лице Никитки разлилась насмешливая улыбка. Механик насторожился. Значит, не то и не так сказал. А как надо? Примениться, может быть, к ним? Василий уныло обвел глазами куривших механизаторов, которые вдруг показались ему грубыми и чужими.

В техникуме Василий учился отлично. Был на всех курсах старостой или комсоргом. Про него говорили: «У этого котелок варит. Далеко пойдет». Но то было в техникуме, среди таких же, как сам он, ребят. А тут? Двенадцать мужиков, своевольных, замкнутых... Ну что им твоя комсомольская принципиальность?

— Пора разъезжаться! — сказал Василий, повысив голос.

И снова почувствовал, что надо бы было сказать иначе. Стараясь скрыть свою неуверенность и неумелость, продолжил:

— Так дальше у нас не пойдет. Сегодня последний день выезжаете с запозданием. И еще... Чтоб знали все: Мулькотина я накажу. Колхозная техника существует не для развозки разных там родственников с мешками.

И выжидательно посмотрел на Никитку, который тут же и бросил камушек в его адрес:

— И чего такие молоденькие в начальники метят! Проку-то что? Людей по несмыслию лишь обижают. Пойми, Павлыч, ведь Леха тебе этова не простит.

Василий слегка покраснел.

— Так поступлю с каждым...— И направился к двери.

К председателю он пришел с намерением — оштрафовать тракториста. Петр Ефимович, человек степенный, резкостей не любил. Он привык жить с колхозниками в ладу. С Горшковым же он по-настоящему познакомиться не успел. Однако уже проникался к нему раздражающим недовольством. Петру Ефимовичу было обидно, что мальчишка подсказывает, как надо ему поступать с людьми. Чтобы смутить механика, он сказал:

— Не круто ли будет? Ведь этот Мулькотин — чисто крапива. Чуть маленько не по нему — так обожжет!

Сухощавое лицо Горшкова призаострилось, и кожа на нем натянулась.

— Да вы, Петр Ефимович, оскорбляете!

Штрафовать Мулькотина председатель все-таки не посмел.

— Леха у нас взвинченный,— сказал он, как бы оправдываясь.— Осердится — ему терять нечего — моментом в другой колхоз перескочит. А трактористов-то у нас, сам знаешь...

От председателя Горшков уходил с нахмуренным лбом. Первая попытка отстоять свой принцип — и на...

В гараже было холодно. И ремонтники растопили временку, чтобы время от времени возле печи отогревать настывшие на железе руки. Вместе с ремонтниками грелся и Леха. Он курил большими затяжками и рассказывал байку.

— Тебе кто позволил безобразить? — спросил, подойдя, Василий.

Леха, будто не замечая Горшкова, продолжал развлекать мужиков.

— Слушай, ты! — не стерпел Василий.

Леха качнулся на чурбаке. Из-под расстегнутого ватника выпахнула шерстяная рубаша.

— На таких тонах я б не советовал.— Леха вставил в зубы еще одну папиросу, прижег.— Что-то вы скоро про угощение наше забыли. Ровно зюзя вчера наклюкались. А за чей, интересно, счет?

Василий замялся и покраснел.

— Не об этом сейчас разговор,— сказал он невнятно.

— Вот! Вот! — Леха взглянул на ремонтников, как бы в свидетели их приглашая.— Ишь какой скользенький. Не по мысли правда-то, ай? В таком разе уж потерпите, выскажусь прямиком. Вы сюда приехали для чего? Штрафовать нашего брата? Да я ваш тонкий дух вы провожу вперед...

— Вот что, Мулькотин,— оборвал Василий,— запомни: я себя в обиду не дам. И не будь я над тобой начальник...

Увидев бледнеющее лицо тракториста, Василий понял, что он немного поторопился.

— Что? Может, в харю желаете мне...— Мулькотин привстал над осиновым чурбаком, выплюнул папиросу и, склонившись над черным ведром с соляркой, кивнул притихшим ремонтникам: — Вы слышали, робя? Звирёк городской мне угрожает...— Он вытащил из ведра сырую тряпицу.— Ну что стоите? Ручку приложите!

— Тебе бы на сцене скоморошничать,— усмехнулся Горшков.

— На сцене-то не эдак! — захохотал вдруг Мулькотин и, скосив глаза на Горшкова, швырнул тряпицу прямо ему в лицо. Василий не успел отклониться.

— Спасибо,— сказал он тяжелеющим языком.

Леха стоял перед ним спокойный и сильный, готовый к скандалу и мрачно давал совет:

— Чего глазками заострили? В контору бегите. Пожалуйста. Председатель как раз сейчас там. Доложите ему обо всем да подскажите, чтоб с трактора меня снял, заслужил-де...

Василий водил носовым платком по обострившемуся лицу. Губы его дрожали. Он медленно повернулся, поймав на себе строгий взгляд глядевшего на него со стены святого, и тяжело вздохнул. В дверях Василий столкнулся с Никиткой, который вернулся только что из райцентра, куда отвозил тресту.

— Еще рейс придется,— сказал механик.

— Начальству виднее,— ответил Никитка.— Но только один боле я не поеду. На Соловьеву гору еле поднялся. На лоб Василия напоззли морщинки.

— Хорошо,— сказал он, помедлив,— поедет с тобой Мулькотин. Скажи об этом ему.

Веселые глаза мужика сразу потускнели:

— А может, завтра, с утречка...

— Сегодня надо. Понятно вам?

Груженные трестой два «ДТ» подошли к дому, где жил Горшков на постое, после обеда.

— Ко мне, поди, сядешь? — крикнул Никитка, завидя спешившего по сугробам Горшкова.— Не советую к Лехе. Неловкой он теперь.

Тот бровью даже не шевельнул. Ехать Лехе смерть как не хотелось, но все-таки он поехал. Не потому, что ве-

дел механик. Просто он не желал, чтобы день пропадал впустую. Так у него всегда! провинится в чем-либо, а после сердце тоской обливается. Он и Горшкову бы ничего худого не сделал, если бы тот по-доброму подошел, без придирки и без насмешки.

«Слизняки все одинаки,— размышлял Мулькотин, сидя в одной кабине с Горшковым,— одной щекой улыбаются, другой звереют».

Санник, пробившись сквозь лес, вывел тракторы в поле. В кабину брызнуло светом. Серокрылые ронжи в последний раз пролетели над трактором и нырнули в еловую чащу.

Леха взглянул на безмолвную пожню, за которой на взгорке лепилась большая деревня. Тракторы двигались быстро. Казалось, вот-вот они оторвутся от волокуш и помчатся еще быстрее. Миновав белокрышие избы и крутой обрывистый косогор, они подбежали к речному спуску.

Берега у реки были круты. По льду, обгоняя один за другим оба воза, проскочил брезентовый «козлик». Петр Ефимович высунул голову из кабины: дескать, я это, ваш председатель. Махнув зачем-то рукой, он снова скрылся в кабине и повел машину вперед.

Лед на середине реки потемнел от воды, не успевшей еще застынуть после теплой погоды. Ехал Мулькотин неторопливо. Распахнул взвизжавшую дверцу.

— И ты открой,— бросил Горшкову.

Полозья саней выжимали воду. Когда волокуши выползли из разводья, раздался треск.

— Стой! — сказал Горшков. — Надо взглянуть.

Он спрыгнул. Пошел, проверяя лед.

— Ну чего там? — крикнул Мулькотин.

— Да вроде бы ничего. Езжай!

— Слизняк сухорожий! — ругнулся Леха. — Страхово накопил за троих.

Он закурил папиросу и дернул рукой за рычаг. Трактор не столько взревел, сколько уркнул, и тут же хлынувшая в кабину вода швырнула в лицо ледяные обломки. В глаза плеснуло черным, студеным и страшным. Леха схватился за кромку кабины, чтоб, подтянув тяжелое тело, как можно быстрее рвануться вверх. Надсадно металось сердце: воздуху в легких не было совершенно. И не зная, куда приведет рывок — то ли под гибельный

лед, то ли в окно пролома,— Леха вложил в рывок все свои силы. На лед он выполз, еще не веря, что выбрался из глубины. Шатаясь, встал.

В изломе шкворня искрился солнечный луч. Над полыней громоздились груженные сани.

— Диво, и только! — крикнул Никитка, приплясывая ногами.— Напугал-то как! Напугал!

Василий сорвал с себя полушубок.

— Переодевайся скорей!

Полушубка Леха не взял.

— Не простыньте сами, — сказал и, взяв сырыми пальцами из портсигара Никитки тонкую папироску, посмотрел на механика с сожалением.

Василий закрыл глаза. Он слышал, как шлепнулся о воду снопик, как зачавкали валенки по дороге. Не оглядываясь, сообразил, что трактористы пошли в деревню.

Долго стоял он так, не понимая, что надо сейчас ему делать. Стоял, ошаркивая ногами мокрое крошево льда.

— Дяденька, как быть-то теперь? — услышал тоненький голосок.

Василий вздрогнул, заметив у полыни нескольких неизвестно когда появившихся деревенских мальчишек. Оглянувшись, увидел и председателя, который шел с той стороны реки, жестикулируя руками. И вдруг ему захотелось, чтобы лед под тяжестью председателя треснул, он провалился бы в полыню и стал бы тонуть. Тогда бы Василий знал, как надо ему поступить. Так, чтоб потом председатель признательно улыбнулся: «Ну, брат, если б не ты...»

Механик глядел на седую, в метельных наслоях реку, на Петра Ефимовича, шагавшего в развевающемся пальто, хорошо шагавшего, споро, не собираясь проваливаться под лед, и мысленно обругал себя: «Это ты от безволия придумал такое геройство. Боишься, вот и ищешь увертку».

Полынья источала студеные кудри пара. Пацаны, распластавшись на животах, пытались нащупать палками скрывшийся трактор.

— Ребята, багор бы, — сказал Горшков.

Кто-то убежал за багром. Василий выловил из воды сивенький снопик, стряхнул его и забросил на воз.

Петр Ефимович предстал перед ним — рыхлощекий и гневный.

— Мыслимо ли такое? Да вы что, умом тронулись?

— Ладно хоть сами живы,— сказал Горшков.

Петр Ефимович еще гуще налился румянцем:

— Все видел! Каб не твоя команда, все обошлось бчин чином. Какой дурак над быстринной останавливает машину?

Василий молчал. Он понял, что надо сейчас вести себя смирно и не оправдываться ни в чем. Но чем дольше молчал он, тем Петр Ефимович сильнее распалялся:

— Не взять на ум такое! Чему вас только в техникумах учат?

Но странно, ругательства председателя не задевали Горшкова. Сначала он не понимал, отчего это так, а потом ему стало ясно: председатель боится. Да, да, боится, как бы не обвинили в случившемся самого. Ведь рекуто он проезжал первый. Знал, что река для тяжелого вoза опасна, однако сигнала об этом не дал.

— Спокойнее, Петр Ефимович,— усмехнулся Горшков.

Но председатель прикрикнул:

— Я те дам спокойнее!

Механик зябко поежился от набежавшего зимаря, зачем-то потер ладони и, чтоб не слышали школьники, заговорил, понижая голос:

— Так, значит, трактор я утопил? Это хотите сказать, Петр Ефимович? Допустим, я утопил. Тогда вам-то чего бояться? Может быть, вы полезете вон туда? — Василий кивнул головой на прорубь.— Полезете и подымете трактор... Хватит на это вас?

Председатель поежился от резковатого взгляда Горшкова. Спорить он не умел. Он умел констатировать факт и, исходя из этого, ставить себя в ту или иную позицию. Так и сейчас, не поняв намеков Горшкова, но почувствовав в них угрозу, он решил изменить свой тон.

— Молод ты еще мне на нервы садиться. И вообще, сдается, что для колхоза ты не в находку.

Петр Ефимович ходил вокруг полыньи в своем долгополом пальто и думал. В райцентр сегодня было спешить ему ни к чему: совещание начиналось завтра с обеда. Однако и тут мерзнуть не было никакого расчета. Услышав лязг гусениц, он повернулся к сдвинувшемуся с места второму «ДТ». Угадав намерение Горшкова

оттащить накренившийся воз от полыньи, мысленно одобрил эту затею.

Сани тронулись плавно, все дальше и дальше уползая от полыньи. Воз Горшков отцепил у берега. Петр Ефимович ожидал, что механик сейчас заглушит мотор. Но Василий вместо этого развернул машину, направив ее к пролому. Петр Ефимович возмущился:

— Ты что? Один потопил и другой туда же?!

Горшков не ответил. Он торопился. Сперва трос разматал, потом отобрал у парнишек багор и, встав на колени, начал бухать им по воде.

— Батюшка водяной! Пособи Павлычу! Сделай то, что он в мыслях носит!

За спиной Горшкова стояли вернувшиеся Никитка и успевший переодеться в сухое Леха. Один — сухонький и лядаший, второй — рослый, широкий.

— Он, видите ли, специалист по части подводного лова, — съязвил, приблизившись к ним, председатель.

— Оно и видно, — согласился охотно Леха.

Петр Ефимович повеселел. Он был доволен, что незаконный сынок наконец-то с ним заодно.

— Пойдем-ка! Покалякаем кой о чем!

Они пошли по наезженно-рыхлому льду, председатель в середине, забрав Никитку и Леху за рукава.

— Потопить машину способностей много не надо. А вот поднять?.. — многозначительно произнес председатель.

— Кабы знатьё, так смазать трактор-от наперёд, — подхватил Никитка. — А то обжелтеет до лета, ржа в аккумулятор все переест.

— До лета нельзя, — помрачнел Петр Ефимович. — За это с нас головы поотрывают.

— Можно поднять и сейчас, — сказал Леха. Сказал густо, уверенно. — Мудрить тут нече. Зацепить «кошкой» — и вся недолга.

Никитка поглядел на него из-за председателява плеча:

— Ну Леха! Ну брат! Другой бы на твоём месте слезы в кулак собирал.

Леха широко осклабился:

— А я вот Петра Ефимовича спрошу. Как, Петр Ефимович, положено мне в расстройство входить?

Председатель растерянно улыбнулся:

— Ты тут ни при чем. Вон с кого надо спрашивать...— И он мотнул головой в сторону полыньи.— Чуй! — вырвалось у него.— Рехнулся! Да нагишом! Ядри твою рыбу!

Они бежали, скользя и падая. В том, что Горшкову наверх не всплыть, были уверены и Никитка, и Леха, и председатель. На припорошенной льдине лежали барашковый полушубок, валенки и штаны. Трос, тонко булькая по воде, изгибался вправо и влево. Потом он затих. Покрытая снежной шугой вода стала спокойной и ровной. Трудно было представить, что туда, в эту студеную чернь, ушел человек.

— Веревку! — заорал вдруг Леха и стал быстро, обрывая пуговицы, срывать с себя ватник. Никитка, обегая Петра Ефимовича, засеменил к трактору. Председатель стоял растерянный.

— Скорей! — Леха круто прошелся вдоль полыньи, зло зыркнул на председателя, завязал на груди два узла.

— Держите веревку! — и глотнул до отказа воздуха. Но в воду прыгнуть ему не пришлось. На мгновение раньше вынырнула гладко прилизанная голова Горшкова.

Василий выкатился на льдину, отдышался и, подпрыгивая на сухопарых ногах, кивнул Никитке:

— Тащи...

Петр Ефимович больше того растерялся. Ему явно было не по себе. Он подошел к Горшкову и даже подержал его, пока тот пропихивал мокрые ноги в штаны.

— А если бы утонул?

— Не утонул бы,— сказал Василий,— а почему? Вы не меня, вы его спросите,— и покосился на Леху.

Леха, бледнея скуластым лицом, что-то невнятно пробормотал и, метнув глаза в сторону, заторопился вслед за Никиткой.

— Ну чего, Василий,— улыбнулся услужливо председатель,— тебе в город, так вместе. Пошли до «козлика», довезу.

— Нет,— ответил Горшков и, посмотрев на вползавшую в трактор широкую спину Лехи, закончил: — У нас с Мулькотиным здесь дела.

Председатель, оглядываясь, побрел к той стороне реки, где стоял брезентовый «козлик», а Василий приблизился к полынье, откуда, ломая лед, показалась кабина.



Дарья сегодня как угорелая бежит по деревне — лицо покраснелось, платок съехал на самый затылок.

— Ты чего, девка, ровно настеганная? — спрашивает доярка Людмила, тараща на нее глаза.

— Дочь приехала! Дочы! — сообщает радостно Дарья.

Она гонит телят к реке, где на склонах, поросших белоусом и мятликом, нагромождены клетки.

— Надолго ли? — преследует голос Людмилы.

— Да седни назад. Сама знаешь, какое от нас в города попаданье.

— Уй-ю-юшеньки! Стоило за эстолько верст киселя хлебать, — тут же делает вывод Людмила и идет не спеша в коровник, чтобы там в кругу баб поперебивать косточки Дарьиной дочке.

Ветер, медленный, теплый, ласкает землю с востока, где, как с жарких углей, подымается солнце. Парит влажно роса. словно черные пули, мелькают в воздухе пчелы.

— Но, садовые! Но, проходимцы! — кричит Дарья, охаживая непокорных животных сломленной вицей.

Телята грудно идут лавиной, ставь в середку батог — унесут на боках. Приперев колом отвод, Дарья мчится назад. Надо двор поприбрать. Надо ясли изладить. Да еще и в контору надо.

Вся избегалась Дарья. Одни жилы да кости. А была-то какая — рук не хватит, чтоб обхватить! За три года так изменилась. А с чего началось? Дочку в город отправила. С той поры и пошло.

Дочка прислала письмо:

«...У нас в конторе не только что девушки, а и пожилые женщины в меховых сапожках похаживают. В ка-

таниках-то я одна, почитай. Но ничего, мамонька, ничего. Когда-нибудь и мы из-под клетки в горенку выйдем...»

Таков был первый намек. Намек на дорогую покупку. В поисках денег Дарья обегала всех знакомых и незнакомых и, купив сапоги, положила в посылку записку, где грозились, что люто рассердится, если Граня надумает с нею делать расчет.

Дочке такие грозности в самый раз по душе. Дав матери передышку во времени, она вновь принялась сокрушаться, что стать порядочной девушкой ей не дают тыщу раз распроклятые деньги, без которых нельзя достать ни приличного городского пальто, ни вечернего платья.

За три года Дарья выручала дочь раз, наверно, двенадцать. В конце концов она к этому так привыкла, что всякий раз, получая письмо, прежде чем прочитать, гадала: а теперь чего доченька хочет? Она никогда не отгадывала, потому что в модах и вкусах не разбиралась. Сама всю жизнь проходила в сарафане и ватнике, так что знать, чем живут горожанки, было ей ни к чему. Расстраивало ее то, что, судя по письмам, меж дочкой ее и городскими девицами высока еще стенка. «Не допущу, чтобы Гранюшка у меня ниже всяких там вертихвосток жила», — твердела Дарья в решении.

Кроме главной колхозной работы, она бралась за побочную: стирала для доярок халаты, лен теребила, сушила зерно. Сама же кормилась тем, что добудет на стороне: то с фермы молочка принесет, то с поля кочешок капустки прихватит.

Скопленные деньги считала лишь по ночам. Не дай бог, чтоб кто-нибудь подглядел да подумал: какая, дескать, она богатая.

Все-то время она торопилась. Торопилась, потому что боялась, как бы Гранина просьба не застигла врасплох. И бывала страшно довольна, если весть от дочери приходила после тех канительных дней, когда она раздывалась с долгами и можно было вновь поднапрячься, чтобы выручить доченьку в том, без чего в городах обходиться не принято.

Просьбы дочери заряжали Дарью энергией. Было ей задорно от мысли, что делает она не столько, сколько ее обязывали, а чуть-чуть побольше. Вскоре это «чуть-чуть»

выросло в двойную нагрузку. На дворе летовало и зимовало по сотне телят. Ухаживала Дарья за ними с помощницей. Но помощница с ней не сработалась. Дарье лучше не надо. «Слава богу,— размышляла она,— теперь хоть не будет обидно, что кто-то слабже меня работает. Да и получка подымется...»

Случилось это как раз после Граниного письма, в котором та намекала на покупку цигейковой шубы. Работала Дарья не щадя живота. И было жалко ей и обидно, что таял день, словно свечка. «Ой, мало успела, ой, ничего»,— ворчала, укладываясь под одеяло. По ночам снилось стадо колхозных телят, стоявших у ее изголовья, и со всех языков телячьих в руки Дарье соскакивали трешники и пятерки, которые она едва успевала записывать в длинный чулок. «Тепере-то я уважу дочке своей»,— думала Дарья сквозь сон.

Этот сон перестал преследовать Дарью лишь после того, как она отправила перевод. Два месяца, наверно, жила сама на себя. И странно: стало ей скучно. Так скучно, что хоть бросай дом с хозяйством и поезжай к дочке в город. Тоскуя и проклиная одинокую жизнь, написала письмо и вскоре получила ответ.

«...Мамонька, уж как-нибудь потерпи,— сообщала дочь,— сама живу на десяти с половиной метрах...»

Второй и третий раз перечитала Дарья письмо, пытаясь найти в нем привычную просьбу. Но ни в строчках, ни между ними не было и намек на просьбу. И это Дарью расстроило: «Никому-то я, видать, не нужна стала. Вот дожила! Дальше деревни и ходу нет!»

Недели две ходила Дарья с опущенной головой. Глаза ни на что не смотрели. И вот вчера, в теплых сумерках, едва в дом зашла, как лихая, жаркая радость растеклась по груди. Граня!

Уезжала дочь тощенькой, бедно одетой. А теперь такая особа! Лицо красивое, белое, волосы стогом. Правда, Дарью смутила одежда: полупрозрачная кофта, сквозь которую, как сквозь дым, виднелась полная грудь, и короткая юбка, нагло так открывавшая над коленями ноги.

- Эко?! Неужто в городах все эдак ходют?
- И эдак, и в брюках!
- Девки-ти в брюках?

— Да, мамонька, все интеллигентные девушки так одеваются. Иначе нельзя.

Дарью поразила и дочкина речь. Как говорит! Будто в деревне и не жила.

— Ты говоришь-то теперь как не по-нашему!

— Я, мамонька, в университете культуры учусь,— засияла Грания от гордости,— хочу эстетичной стать. Во всех отношениях.

Дарья слушала непонятные слова дочки, любовно разглядывая ее. «От меня тело-то небось перешло. Все чисто от меня. С таким телом уноровишь хоть кому. Есть к чему приклониться...»

Вчера в разговорах и пересудах засиделись они до ночи, и сегодня, уходя на телятник, Дарья дочь не будила. «Теперь, поди-ка, проснулась,— рассуждала она, торопясь проулками к дому.— Вот и ладно, вот и добро, что проснулась. Неспехом хоть в дорогу собрать...»

— Мамонька, ты где пропадала? — встретил Дарью капризно-ласковый голос.

— Где уж мне пропадать, как не возле скотинки. Да еще в контору слетала, узнавала тебе об машине.

— Ну и как?

— Никита Паладенко поедет.

— Это который? Большак хромого Сереги?

— Ага. Он у нас — парень трудяга. С им бы жить — подколочена бы была, подзолочена.

По красивому лицу Грани проползла тень досады.

— Ну что ты, мама? С Никитой жить? По мне ли? — И снисходительно улыбнулась: — Ведь жених-то есть у меня без того. Такой представительный! Получает сто семьдесят да еще премиальные. Свадьбу в Октябрьскую справим.

— Воно-ка что, оно-ка!

Дарье и верится и не верится, что счастье к дочери само идет. Само из рук в руки катится.

Глаза у Грани туманятся. Смотрит она, как мать уставляет стол пирогами и чашками, и говорит:

— Ты уж, мама, подумай. Дочка я у тебя разведенная. И перед мужниной родней надо в грязь не ударить.

У Дарьи в голосе строгий попрек:

— Мужнина родня против матери твоей — далек берег. О приданом-то небось я думала и сама.

— Только, мамонька, деревенского ничего такого не ладь. В городе, сама знаешь, ни половики, ни платки не к месту.

— А что к месту-то? — обиделась Дарья.

— К месту, мамонька, деньги. Мы с Виталием мечтаем о телевизоре. В городах, почитай, он у всех.

— А еще-то чего? — спросила пытливо Дарья. — Телевизор — что? Развлекаться, поди? А для по́ста́ву, для обиходу, для жизни?

— Ничего, мамонька, ничего нам больше не надо. Что мы, эксплуататоры, что ли, какие — из тебя кровь-то высасывать? Телевизор — и ничего, ничего.

Они не успели позавтракать, как, шурша по траве колесами, подбежал грузовик.

Граня — быстренько к чемодану:

— Ну, мамонька, я и поехала! Ты тут без меня не скучай. Держи хвост пистолетом!

— Чего? — оторопела Дарья.

— Да так это я, по-городски. Эдак шутят у нас в конторе...

Простоволосая длинная Дарья смотрела на грузовик так печально и дико, словно дочь ее уезжала не в город, а куда-то далеко-далеко, откуда уже не бывает возврата. У ольховой опушки кузов вывело вбок, и дородная Граня, тонко взвизгнув, повалилась на трех мужиков. Почему-то на них закричала. Когда встала, листья, вершины и ветки заслонили ее от матери. Дарья только и разглядела кверху взмытую руку с расплескавшимся белым платком.

— Не шофер — чистой демон! — заругалась она. — Везет-то ить не картошку. Поаккуратней бы мог.

Дарья вдруг встрепенулась и побежала в телятник.

Бригадир Величу́тин Костя, мужик рябой, горбоносый — навстречу.

— А я до тебя ходил, — сказал, будто радуясь, хотя радоваться было и нечему. — Хотел посватать тебя в доярки...

— Али подперла нужда?

Косте нравится рассуждать, особенно с теми, кто от него зависит.

— Да нет покуда,— сказал снисходительно,— но подпрет. Саланенкова Людка норовит вон в полеводство податься. А кем заменишь?

— Только не мной,— ответила Дарья, почуяв вдруг в Косте опасного человека, с которым надо быть начеку.

Голова у Кости большая и наполнена мыслями чьими угодно, но не своими. Без совета с начальством Косте дня не прожить. И сейчас, находясь перед Дарьей, вспоминает слова председателя. Обыкновенные такие слова, но вдруг поднявшиеся перед другими словами на высокий порог: «Удерживать Саланенкову нечего. Пусть переходит. Но замена чтобы была найдена!»

Костя вечно в себе не уверен. И сейчас, побуждая Дарью к работе на ферме, он в сомнении: переведет ее, скажем, в доярки, а что с телятами станет? Не зная, что сказать и на что решиться, Костя грустно смотрит на Дарью.

— Знаю тебя, слава богу,— говорит в расчете на то, что Дарья — баба не глупая и поможет ему разобраться в том, в чем запутался сам.— Вот и думаю, срывать тебя с места или нет...

— Али на телках-то я худо работаю?

— Да кабы худо, и затрудненьев бы тут никаких...

Глаза у Кости грустные, смотрят вроде бы понимающе, и, поверив им, можно думать, что он всегда до людей с сочувствием.

Дарья верить ему не хочет. Ошибалась не раз. Чтоб скорей от него отвязаться, заговорила о своих недостатках:

— Я, Костя, с артелью работать никогда не любила. Все и думаю, что кто-то меня хуже делает. Я ить работаю как? Где бегом, где прискоком. В дело уж если вникну, так держите меня! Позади всех оставляю. А поостыну, попригляжусь да подмечу, что другие-ти лентяй, тут меня и взорвет. Всех расчихвостю! Из-за этого, Костя, трудно со мной хоть кому. Вон и Варька ушла из телятниц. А ушла отчего? Оттого что работать ее понуждала: ровно столь, сколь и я. Мене сделает — обзову и спящей, и полоротой.

Костя сильно разочарован: убедила Дарья его, да убедила не в том, в чем надо. Ей бы сказать: дескать, трудно одной да скучно. Так нет! Чтобы чем-нибудь досадить, бригадир намекает:

— Денег, поди-ко, у тебя тыщи на книжке...

— Откуда тебе известно про деньги мой?

— Оттуда, что деньги подгоняют работника. Чего еще больше-то?

— Может, и деньги,— сомкнула Дарья тонкие губы.— Только ты моих денег не считывал. И не считать тебе их...

Не первый раз Дарья слышит о себе как о денежной скрытнице, у которой в крещенский мороз горстки снега не выпросишь. Дарью это всегда раздражает: что она, для себя эти деньги-то копит? Никогда не бывало такого. Но для дочки своей — и указывать бойтесь — как копила, так и будет копить!

Дарье времени жаль, что ушло на пустой разговор. «Уж бы этой порой прибрала половину двора», — сокрушенно ворчит, подбегая к воротам телятника.

В телятнике пахнет прелым навозом, через стекла сочатся лучики света. Дарья в азарте берется за дело. То в руках у нее упавоженный заступ, то охапка соломы, то фляга. Из-за стенки послушать, будто работает несколько человек: кто-то громко колотит, кто-то скребет, а кто-то тяжести подымает.

Широко у Дарьи на сердце. По сухим обострившимся скулам разметался румянец. Губы шепчут словно молитву, а потом расплываются в мягкой улыбке. Эта благодатная улыбка выражает гордую радость, при которой ее посещает всегдашняя мысль: «Как я работаю, так никто не умеет!»

Вечером в Дарьину избу пришел бригадир. Не один. Из-за грузной его спины показались кудряшки и голубое с цветочками платье.

— Вот, Дарья, к тебе на постой,— сказал Костя, кивая на девушку.— Будет тут у нас продавщицей. Замест Катьки.

— Не пошто и привел. Сам знаешь: постояльцев я не держу.

Скуласто-рябые щеки Кости дернулись, обнажив желтозубый широкий рот.

— Мне что? Чего уполномочили, то и исполнил.

— Кто тебя уполномочил?

— Николай Петрович уполномочил,— назвал Костя председателя сельсовета и, радуясь неизвестно чему, рассмеялся и вышел.

Дарья молча оглядела девочку сухим подозрительным взглядом, будто та была виновата, что привел ее Костя не к кому-то другому, а именно к ней. Девчонка была большеглазая, с хрупкой беленькой шеей и личиком, как бы просившим не быть к ней чрезмерно суровой.

— У меня мотри, деушка, не больно-то обиходно,— промолвила Дарья,— грязи толсто да и сору навалыно. Тебе бы к учительше нашей Анне Федосьевне. Там бы все аккуратно. Паразитиков этих, клопов да блох, не бывало от роду.

— А пустит она?

— Коли будешь проситься — пустит,— ответила неуверенно Дарья.

— Ну тогда я пойду,— девчонка взяла чемодан, улыбнулась и вышла в сени.

Дарья к полым дверям, вдогонку:

— Живет-то она на нижнем порядке, с краю второй пятистенки. Там еще выводок будет в поле.

— Ага, я найду,— обернулась девчонка.

В повороте ее головы, тихом голосе, вежливом взгляде Дарья вдруг углядела покорную безотказность, и это ей поглянулось и навело на мысль о деньгах: «Ить бы стала платить. Все бы скорее скопила на приданое Гране».

Бегом, через два порога, мчится Дарья под светлый навес. Оттуда громко:

— Забыла сказать-то тебе...

— А-а?

— Да вот, говорю, гостей полон дом теперь у нашей учительши. Не ходи к ней. Неудобно, поди.

— Куда тогда мне? Вы, может, подскажите?

— А буде пондравится, дак валяй, оставайся и у меня.

Условия Дарья сказала сразу. Сказала решительно, как человек, которому некогда церемониться:

— Коли будешь питаться с моего стола, то тридцать рублей. Коли не будешь...— Дарья сознательно сделала паузу, чтоб девчонка ей возразила.

— Буду! Как же не буду! Вы не подумайте...

Глаза у девчонки, казалось, парили плывущим синим теплом, которое растопило в груди у Дарьи холодок недоверия и неприязни.

— Тебя величать-то как?

— Лидой! — вспыхнула девушка.



Дарья поставила самовар, спросила:

— В городу-то, поди-ко, мать у тебя?

— Мама...— ответила Лида и светло посмотрела на Дарью.— Она на пенсии.

— И сколь получает?

— Сорок пять.

— Ничего еще. Хотя и не больно-то много.

— А я буду ей посылать. Каждый месяц по двадцать рублей.

Дарья вздохнула. Тяжело вздохнула, протяжно и, отставив на край стола чашку с недопитым чаем, прищуренным острым взглядом уставилась в самовар. «Али им по-разному надо? — думала о квартирантке и дочке.— Одна от себя, вторая к себе...»

Долго сидела она, тупо всматриваясь в свое крупное и сухое лицо, удлиненное самоваром. Сидела, пока не пришла спокойная, здравая мысль: «В городах всем, видать, без денег-то туго. Что Гране моей, то и матке Лидийкиной. Это в деревне без них обойдешься. А там нет. Там без этих красавчиков никуда...» Чтоб увериться в этой мысли, она с надеждой бросила взгляд на Лиду.

— В деревне, оно, конечно, легче прожить. А? Как по-твоему?

— Я, тетя Даша, очень даже с вами согласна,— сказала Лида и улыбнулась, почувствовав к Дарье доверие.— Я ведь впервые буду зарплату-то получать. Заведу себе часики. Оденусь как следует...

У Дарьи под кожей — январский мороз. Придирчивыми глазами посмотрела на квартирантку: «Эко! Часики заведешь! А на какие шиши? На ворованные? Катька — одно название, что торговкой была,— пятистенок себе построила, платьев завела, от шелков сундуки распирает. Ладно, вовремя принудиловкой оплели. А и эта туда же. Господи, кому ноне верить...»

Дарье некогда спать. За окном еще темень. Встала. Обула сапоги-грязнодавы. До свиданья, мил дом. Пока сходит за лошадью, получит обрат, привезет его и поставит на двор, на востоке уже заалеет.

Любит Дарья такие минуты, когда все еще дремлет, воздух девствен, свеж и вот-вот, как по сговору, заляются в песенном свисте овсянки, малиновки и скворцы.

В телятнике парно, рев, грохот, стук легких бесчисленных ног. В щели лезут языки и копыта.

Дарья бегаёт по проходу. От одной загородки к другой, шелк да шелк по задвижкам. Ошалев от молочного духа, телята лавиной катятся к пойлу. Кто с коленок пьёт, кто с ногами в корыте.

— Пейте, касатики! Пейте, христовые! — находит Дарья минутку для слова. — А ты куда? — шлепает яренького бычка. — В своем блюде выкушал — и к соседу залез. Вон отселя!

Вечером — как ни устала Дарья — а в сельповскую лавку все-таки заглянула. Как-то там ее квартирантка?

Магазин кипел от народа. Говор, дым, селедочный запах.

«Не баше, чем у меня на скотном, — подумала Дарья. — А и завтра будут давиться. Будут. Да и то сказать, десять ден продержат на запоре лавку! Ничего себе передача!.. Кажись, дай бы мне, дак с передачей-то с этой до обеда управилась. А что нонешней молодяжке? Ей бы гули-погули. Больше-то где они умеют торопко?»

Среди локтей, животов, коленей пробирается Дарья вперед. Но ее неожиданно задвигают — сначала к весам, потом к синей масляной печке. Там приступочек — Дарья зашла на него и режет взглядом меж платков и кепок, разглядывая свою квартирантку. «Ну-ко, ну-ко, — усмехается Дарья. В голове упрямо и глухо шевелится мысль: — Продавцы не бывают честными, за ними надо следить».

Но лицо у Лиды точно такое же, как и вчера: те же зыбкие бантики губ, те же глаза, как бы всех заверявшие: «Я желаю добра вам. Верьте мне!»

«Знаем мы вас. Все вы с виду телятки смиренные», — недоверчиво размышляет Дарья. Она видит мелконькие кудряшки, которые весело и беспечно прыгают по открытому лбу квартирантки. Прыгают потому, что продавщица все время в движении. Особенно быстры руки, очень бледные и прозрачные, сквозь которые можно, казалось, смотреть. Удивляется Дарья проворству пальцев. У каждого как бы отдельное дело: мизинец порхает по косточкам счет, большой с указательным складывают рубли, а безымянный отсчитывает копейки.

У Дарьи вдруг возникает желание пособить продавщице, да так, чтобы было от этого ей приятно. И душой, и мыслью, и телом словно выходит она за прилавок.

— Вот вам, пожалуйста, сдача,— говорит покупателю Лида, и Дарья чувствует: вместе с Лидой то же самое говорит и она. И к буханкам ржаного хлеба Дарья тянется вместе, и вешает вместе, и, подавая покупку сугорблой старушке, вместе с Лидой сочувствует, что у бабки такие слабые пальцы, которыми еле возможно развязать носовой платок, где деньги на хлеб, селедку и сахар. «Ходовая девка»,— уважительно думает Дарья и слышит:

— Будьте добра, свесьте пятьдесят грамм шоколадных конфеток.

По вкрадчиво-чистому тенорку узнает пенсионера-бухгалтера Травкина, человека липучего, словно клей.

— Дальше? — спрашивает у Травкина Лида.

— Дальше! Дальше мне чайного печенья свесьте. Так это граммчиков сто.

— Пожалуйста, вот вам печенье. Что еще?

— А как у вас насчет мармеладу? Он свежий, я полагаю?

— Ах, и не знаю! Наверно, свежий!

— Надо знать не наверно, а точно,— поучает пенсионер,— отпустите мне граммчиков двести. Или даже сто пятьдесят.

Голос у Лиды слегка дрожит:

— Вот получите...

— И еще буханочку хлеба. Во-он, вон ту, с жаристой корочкой.

Подав буханку и щелкнув мизинцем по счетам, Лида немедленно сообщает:

— Семьдесят восемь копеек.

И тут же, не тратя времени даром, обращается к толстой, стоящей за Травкиным бабе:

— А что вам?

— Постойте, барышня! — возмущается Травкин.— Кто это вас так торговать научил? Где внимание? Вежливость где? Мы с вами, кажется, не в частной лавочке.

— Простите, пожалуйста,— извиняется Лида.— Я думала у вас все.

— К вашему сведению не все! — продолжает сердиться бухгалтер.— Отпустите мне еще бутылку вина.

Да не! Не водки! Я, кажется, русским языком сказал, что вина...

Травкин выбирается из толпы, разобиженный, красный.

И Дарье становится чуть спокойней за Лиду. Как вдруг, расталкивая очередь, от дверей к прилавку проходит бывшая продавщица, тридцатипятилетняя Катерина с черными и косыми бровями.

— Свешай, надо быть, хлеба! — тоном приказа заявляет она, не взглянув на Лиду.

— Пожалуйста. Только встаньте в порядке очереди, — вежливо отвечает Лида.

— Мне недосуг! Я тороплюсь.

— Все торопятся, — упорствует Лида, — однако стоят и ждут.

— Ну знаешь ли, — усмехается Катерина.

Но тут на нее набрасываются самые бойкие покупатели.

Не обращая на них внимания, Катерина, перегнувшись через прилавок, бросает Лиде в лицо:

— Я цепкая, надо быть. С коготками. Меня никто не сшибет. А тебя? — И наградив покупателей мрачным взглядом, исчезает в дверях.

Дарье за Лиду и боязно и тревожно. Дома, перед тем как заснуть, она советует квартирантке:

— Ты, Лидийка, будь с чернобровой разбойницей поострей. Она ить глухая...

— Как глухая? Она же слышит?!

— Душа у нее глухая.

— А-а... — изумляется Лида, и сердце ее стучит больно-больно, как перед близкой бедой.

Месяц минул, как прожила на постое у Дарьи ее юная квартирантка. Сегодня у Лиды — зарплата. И вот, получив, положила на стол три десятки.

— Мало, может быть, тетя Даша? — спросила, сдержанно улыбаясь. — Я вон как у вас хорошо питаюсь. Да и чувствую себя свободно. Все равно что дома у мамы.

— Что ты, что ты... — Дарья почувствовала, как сердце заходило взад и вперед. — Лишнюю копейку ни с кого еще не бирала. Денежки я только честные признаю, своим горбом натруженные. И эти-то совестно брать, да уж так принуждает...

— А я, тетя Даша,— похвасталась Лида,— маме сегодня выслала. Не двадцать, а тридцать рублей. Вот обрадуется!

У Дарьи вдоль спины прошла холодная дрожь. «Неужто плутует? — Но тут же оборвала эту мысль.— Не... С таким личиком, как у Лиды, воровать невозможно.— И горько задумалась: — Доживу ли я до такой вот поры, чтобы и обо мне тоже эдак заботились? — Почувствовав, как больно заныло сердце, попыталась утешить себя: — Кабы я в городе жила, а Гранюшка тут, в деревне, то не оставила бы она меня. Помогала бы не хуже Лидии...»

Вспомнив дочку, Дарья представила ее жениха. Он виделся ей непьющим, культурным. «Повезло моей Гранюшке, повезло больно славно. Где уж Лидийке такое... Лидийку ростиком бог обидел. Уж какой ей жених!»

Но вскоре Дарье пришлось убедиться, что она ошибалась в предположениях. Однажды, зайдя за Лидой после работы в лавку, заметила она, как ее смиренница-квартирантка переглядывалась с Никитой, который, стесняясь и радуясь, возвышался возле весов. «Господи! — изумилась Дарья.— Экой дяденька! Да куда ей?»

Никита, чувствуя, что за взглядом его подглядели, смущенно покашлял и вышел, мягко этак прилепнув дверями.

Дарья взглянула на стрелки часов. Восемь ровно. Пора, казалось бы, и домой. Но Лида уткнулась в тетрадь, всем своим видом показывая, что ей теперь не до Дарьи.

— Ну я, ладно, пошла, буде...— Дарья взялась за ручку дверей.

— Хорошо, тетя Даша, хорошо. Я бы, знаете, тоже с вами, да тут что-то не сходится у меня,— ткнула Лида пальцем в тетрадь.

Повернула Дарья в ближний проулок и оглянулась, будто кто приказал. И именно в этот момент на крыльцо магазина в дрожании тусклого света метнулась фигура. «Да ить это Никита. Ай да Лидия! Вот пошто не сходится у тебя...»

С той поры приходить домой стала Лида с задержкой. Случалось, придет и в полночь, а то и позже. Дарье что? Не ее это дело. Пусть гуляет.

«Вот лежит, ровно куколка»,— улыбнулась Дарья, проходя утром мимо постели Лиды. Та просыпалась

обычно позднее, когда Дарья уйдет в свой телятник. Поэтому Дарья встревожилась не на шутку, увидев, что Лида не спит и глаза ее смотрят тоскливо и обреченно.

— Эво! Лидонька! Что с тобой? Глядельцы-ти сколь не мутны...

Не собиралась Лида рассказывать о себе, да разве можно устоять против Дарьи.

— Что делать-то, тетя Даша? Ведь Никита вчера бутылки с водкой побил. Восемьдесят четыре бутылки.

— Господи, неуж пьяной ехал?

— Не пьяный, что вы! За рулем он не пьет, сами знаете. Дорога-то вон какая плохая. С колес, говорит, колесо сбросило, да в канаву. Ящики и полетели на землю. Восемьдесят ведь четыре бутылки...

Дарья быстрым своим умом перевела бутылки на деньги. Получалось за триста. И в чулке у нее почти столько. Она испугалась, но не за Лиду, не за себя, а за свою любимицу Граню. Ей показалось, что Лида станет просить у нее взаймы. «Нет! Никогда. Отобратить от Грани? Пусть и не думает! Пусть не мечтает! Да и кем мне, в конце концов, доводится эта Лида? Посторонняя девушка, вот. Ну, а раз посторонняя, то извините...»

— Народ-то хоть бает чего? — спросила Дарья.

— Да всякое...

— А начальство?

— Какое начальство?

— Да как... Был кто-нибудь из начальства в лавке-то?

— Вроде бы нет.

— Ну тогда ладно.

— Катерина, правда, заглядывала. Тихо так держала себя. Даже в очередь встала.

— Это худо, Лидийка,— понизила Дарья голос,— больно худо. У нее все не как у людей. Черт в подкладке, сотона в заплатке. Начеку будь, Лидийка. Ой, начеку...

Вскоре Дарье пришло письмо. Дочь приглашала готовить свадьбу. На сердце у Дарьи легко. «Вот и ладно, вот и добро. Не с пустыми руками прикачу к моей Гранюшке...»

Ей никак не терпелось подсчитать капитал. Прошла в горенку. До того как извлечь драгоценный чулок, заперла на завертышек дверь, чтоб никто не зашел.

...Похрустывают, шуршат между пальцами Дарья трешники, пятерки, десятки. Лицо у нее строгают. Богатой, дюже богатой чувствует себя она в эту минуту. Триста двадцать рублей! Таких денег не бывало еще никогда у Дарьи.

Вечер морозный, темный, но не поздний еще. Дарья решает сходить в магазин — взглянуть хоть глазком, каков он есть, телевизор. Покупать его здесь она, конечно, не будет. Лучше в городе купит. А то и везти больно трудно, да и сплетен не оберешься.

Суетливым проворным шагом пересекает Дарья заулочек, поднимается на крыльцо. На дверях магазина, чуть выше ручки, белеет листок — «Закрыт на учет».

«Неужели проверка?» — Дарья прильнула к окну и увидела в магазине Лиду с мужчиной во френче. Лида растерянно улыбалась, а мужчина считал бутылки, наморщив выпуклый лоб. «Стой-ко, да это Сажин, поди?!» — узнала Дарья знакомого человека, которого каждый в деревне боялся.

На войне Сажин не был, однако ходил постоянно в военном френче. Наезжал он в деревню часто, проверял то хозяйство, то кого из людей и снисхождения никому никогда не делал. И сейчас на его лице как бы было написано: «Никуда от меня не денетесь. Хотите вы этого или нет, все равно я вас выведу на чистую воду».

«Вот попала Лидийка, вот уж попала!» — огорченно вздохнула Дарья и поспешила к избе бригадира.

Бригадир был не в духе: не любил, чтобы на дом к нему приходили, да тем более перед сном.

— Ну чего, Дарья? С какими-такими вестями? — спросил он, не приглашая садиться.

— Отпуск пришла, Константин Павлыч, просить. Свадьба у дочи через пару деньков.

— А где была раньше?

— Как где? С рожденного дня векую в деревне.

— Ох, и не знаю, что с вами мне делать. Не знаю, не знаю.

Костя в самом деле не знал, что делать с Дарьей, и желал одного — поскорее отделаться от нее.

— А ты их сюда со свадьбой! Сюда приглашай!

— Костя, в уме ли ты? — посуровела Дарья. — Кто из городов справляет свадьбу в деревне? Я пришла за положенным, чего зря толковать.

— Легко сказать. Ить вместо тебя не одного заместителя — двух ставить надо...

— Хоть трех, дак не жаль!

— Не тебе, мне отвечать.

— А ты председателю побренчи, — сказала с усмешкой Дарья.

— Председателю! А чего? — улыбнулся Костя и снял телефонную трубку.

— Димитрей Димитревич, — заговорил, соединившись с квартирой. — Посоветоваться бы надо. Дарья тут, телятница, норовит вон на свадьбу, к дочке. Чего? Чего, Димитрей Димитревич? Отпустить? Ладно тогда...

Костя даже вспотел от нелегкого разговора. Положив трубку, он обернулся к Дарье:

— Сам разрешил! Так что валяй! Дуй к своей толстой.

Дарья собиралась в дорогу, когда в дверь настойчиво постучали.

— Я на минутку, — предупредил деловито Сажин и, скрипнув кожей сапог, уселся на лавку. — Кое-что уточнить хочу, — сказал он, доставая из гладкой планшетки бумаги. — Какого вы мнения о продавщице?

— Эво? Что это? — непонимающе промолвила Дарья.

— Гуляет она? Шикует? — Глаза ревизора смотрели пристально и пытливо.

— Гуляет. Дело молоденькое. Как не гулять?

— С кем?

Дарья приняла вопрос Сажина за бездельное любопытство, потому улыбнулась.

— С Никитой Паладенковым, нашим шофером.

Сажин, насупив широкие брови, проследил по бумаге остро отточенным карандашом.

— Правильно. Паладенков Никита. Значит, не врет письмецо.

Дарья осмелилась разузнать:

— Это что за такое за письмецо?

Сажин с готовностью объяснил:



— О воровстве продавщицы: мол, спуталась с Паладенковым — отсюда и кража. Вот и вы говорите...

Дарья вскочила с лавки:

— Что я говорю? Что? Что? Тут чего-то не то!

Ревизор устало зевнул, поглядел в законную темень.

— Запаздывает машина моя. Непорядок. — Он положил бумаги в планшетку, стрекнул с накладного кармана френча соринку. — Ну-ко, ну-ко, гражданочка. Что вы сказали? Будто бы что-то не то?

— Ага! Не то...

— А что же?

— Да Лидийка-то наша — девушка честная, глупости в голове у нее никакой. А с Никиткой она по-хорошему...

Сажин снова к окну повернулся, сказал, как бы думая про себя:

— А водки ни много, ни мало — восемьдесят четыре бутылки пропало...

— Но ить разбились они. Какие у нас дороги...

— Я и это исследовал. Был на месте аварии. Стеклашки, конечно, есть. Но ведь их и без всякой аварии можно сделать. И потом я был в избе Паладенкова. И что же? Паладенков еле стоит на ногах. Выпил? Естественно. А где выпивку взял? Где, если магазин на учете?

Сажин говорил убедительно, жестко, будто вколачивал в голову Дарьи не слова, а каленые гвозди. И та, глупея лицом, поверила на мгновение. «Вот так Лидийка! Вот так честная девка!» Но тут же представив ее лицо, отогнала от себя эту мысль. «Не могла Лидийка этого сделать. Не такая она!» И с замиранием сердца спросила:

— Чего будет-то теперь ей?

За окном, в темнеющей мгле, заметались лучи машины.

— Наконец-то, — сказал ревизор, — за мной. А за продавщицей завтра приедут.

— А за ней-то пошто? — чуть слышно спросила Дарья.

— Судить будем. Надо быть, заслужила, — поджал губы Сажин. — Так у вас говорят?

— Надо быть?.. Это где вы такое взяли?

— А вот здесь, в письмеце,— похлопал Сажин по плоской планшетке.

Дарью вдруг осенила догадка.

— Да эдак у нас одна чернобровая Катька бает. Она с Курова. А там у всех такая говóрня. Это она. Она написала! Вы не верьте ей. Все — вранье. Демон в юбке она, а не баба!

Сажин нахмурился:

— Поосторожней, поосторожней.

Но Дарья вскипела как кипяток:

— Христом-богом прошу: не губите девчошку. Безвинная ить она!

Сажин встал и круто шагнул к порогу.

Дарья — следом. Дрожащими пальцами ухватилась за полы френча:

— Как спасти-то ее? А, товарищ начальник?

— Возместить убыток можно суммой в триста четыре рубля. Внесет сейчас эти деньги — и никакого суда не будет.

Дарья взмахнула руками, в голове ее зашумело, и сквозь шум вырастал вопрос. Вопрос о чулке с деньгами. Или Сажину принести его и тем самым спасти квартирантку? Или как лежит он в укромном месте, так его и оставить там? Непокорно, растерянно поглядела Дарья на дверь, ведущую в боковушку, будто там в нижнем ящике горки не чулок с деньгами лежит, а кто-то маленький и живой, кому связали руки и ноги и велели долго молчать. «Понеси нелегкая. Неужто из-за Лидийки Гранюшку свою в пропаже оставляю? С ума, что ли, свинтилась я? Свадьба вот-вот... Нет уж, Лидийка. Кто подвел тебя под закон, тот пушай тебя и спасает. Да и мати есть у тебя. Неуж не подсобит? Неуж? — Знобко сделалось Дарье и неприятно, словно подул на нее снявшийся с зимних сугробов ветер.— Не успеет она подсобить! Мало сроку! Э-э... Выходит...»

Сажин еще продолжал что-то ей говорить, но Дарья, не слушая, перебила:

— Дак сколько, говоришь, денег-то надо? Триста четыре рубля?

Сажин смотрел, смотрел на нее и вдруг, видимо, что-то решив, недовольно сказал:

— Нисколько не надо! Следователя вам тут не хватает. Так выедет он. Я об этом побеспокоюсь.

— Садить Лидийку? — спросила Дарья с испугом.

— Следователи не сажают. Следователи проверяют, — веско ответил Сажин и, одернув помятые полы френча, прошел по сеним, спустился с крыльца и зашпешил через двор к машине.

Темный вечер шел по земле, дыша волглой отавой. Где-то глухо мычала корова. Кричал сыч-полуночник.

Прорезая мрак просекой света, пронеслась и исчезла машина, на которой уехал Сажин. А Дарья, пригорбив плечи, еще долго глядела ей вслед. Потом распрямила спину и вошла в пустой пятистенок. К сердцу ее подступали совсем незнакомые чувства. Были они неожиданны. И привычные прежние чувства, встретившись с ними, приоробели.

Володька Сысоев, мужик хоть и смирный, но своевольный, если на что решится, так не своротишь, делает, как сказал. А говорил он обычно подумав, с бухты-барухты слов не бросал. Недавно женился на Зойке, десятнице нижнего склада, красивой, но вздорной девке, на уме у которой только и было, как вечериночки да винцо. Слава о Зойке была как о крале на вечерок. Не посмотрел Сысоев на это. Уж больно прихлясь она ему по душе. Многие говорили ему, что он с ней долго не наживет. На что Володька небрежно помахивал пятерней: «Не вам об этом судить. А ежели вам, то не мне вас и слушать». Кое-кто отважился спорить: «А если ваша любовь, как веревочка, разовьется?» Сысоев и спорщиков отшивал, спрашивая у них: «Когда жена дважды мила бывает?» И помолчав, наставительно добавлял: «Как в дом введут да как вон понесут».

Хорошо бы Володька жил с молодой, если бы та никуда из дому не отлучалась. Но каждый вечер, едва засмеркает, Зойку будто кто за руку уводил. Придет с работы домой, переоденется в лучшее платье, перекусит чего-нибудь, дверью хлопнет — ищи ее муж. Говорит, что на спевки ходит. А кто ее знает.

Сегодня Сысоев снова расстроен. Уже половина восьмого, потемки лезут в окно, а Зойки все нет и нет. «Чего она, снова поет?» Володька устал, целый день на плотях, напихался багром досыта, и теперь бы ему поесть горячего супу да стопочку выпить перед едой, благо бутылку он прихватил на случай того, что сегодня решили солить капусту. Капуста же куплена пять дней

пазад, лежит в бумажных кулях, того и гляди, вся одрябнет.

Кадцу Володька сам смастерил — большую, на несколько ведер. И вот, ожидая жену, затащил ее в кухню, запарил под ягодный верес и хорошенько промыл. Запах запарки не только в квартире, но и на улице, возле дома, и тот, кто проходит сейчас под окном, знает, что здесь сегодня солят капусту.

Рубил Володька в корыте тугие хрустящие кочаны и думал о Зойке. Куда же запропастилась? К Анютке, что ли, опять ушла? Да нет, Анютка уехала в город. К матери, может? Тоже едва ли. Мать живет теперь с дядей Гришей, плешивым вдовцом, у которого двое дочек. Зойка, понятно, туда не ходок. «Ну где же она, шалава?»

Володька сердито кусает губы, сердито рубит кочан. Ему надоело гадать. И все-таки он гадает: «На репетицию подалась! Боле-то некуда. Ну-у, заброда». На репетиции эти Володька ходить запретил, потому что оттуда она ни разу трезвой не возвращалась. А хватит бы выпивать. Не много и получает. Да и народ похихикивать стал: «Бейся, Володенька, как с Литвой, быть может, и совладаешь!» Володьке обидно. Порядочная жена по чужим задворьям не ходит. А у него? Что ни вечер, то новый адрес. И некого ведь винить. Никто его не толкал на эту женитьбу. Мало того, за неделю до свадьбы Зойка сказала ему: «Я в грехах заросла. Не хочу, чтоб потом меня попрекали».

— Я не буду тебя попрекать! — поклялся Володька. Зря, пожалуй, поклялся.

Бросив сечку в корыто, Сысоев уселся на кадцу и задумался о себе. Год назад он женился на Зойке. Год назад от него уехала мать. И с тех пор на душе у него виновато. Мать уехала потому, что увидела в Зойке капризную молодуху, с которой она бы не ужилась. Теперь она ездит по городам, где живут Володькины младшие братья.

Сысоев разжал ладони и, оттолкнувшись от кадцы, прошел на крыльцо. Вечер был росный, с чистой луной, рассекавшей кривыми рожками темень холодного неба. Внизу, под угором, поросшим густой лебедой, бежала сплавная река, лениво-спокойная в берегах и тревожная на стремнине. По реке, слеповато мерцая, скользили

матерые бревна. Справа за заповью в черной оправе плотов громоздился погрузочный кран.

Там, средь еловых ершей, кошелей и плиток, прошли у Володьки и детство и юность. В пацанах, как и все поселковые дети, он бегал к отцу, который всю свою жизнь разбирал заторы, ладил водные кошелі и загораживал болами плесо. На плавучей преграде с множеством боновых перемычек для ребят — потеха и воля, где можно купаться и загорать, прыгать солдатиком в глубину и, подражая раздетым до пояса мужикам, гнать баграми к водным карманам рудстойку, пилочник и стройлес. Все это было Володьке в забаву, пока в один из ненастных дней его отец, закрепляя проводом заповь, не свалился в реку, угодив под кипящий залом. Не стало отца у Володьки. Пришлось пареньку раньше времени повзрослеть и ходить уже на плоты как работнику и кормильцу. Кормильцу семьи, в которой у матери, кроме него, поднималось еще три сына.

Братья его давно превратились в плечистых ребят и, разохавшись кто куда, обзавелись квартирами и женились. А Володька остался. Зачем уезжать? Он прижился тут, как хорошее дерево среди леса. Он был свой среди сплавщиков. И еще не мог уехать отсюда он из-за Зойки, любовь к которой вспыхнула в нем и горела, сжигая его, пока Володька на ней не женился.

Луна освещала поселок, который от множества хлевушков, сенсвалов и банек казался взъерошенным и лохматым. Было слышно, как кто-то упорно и долго чиркал спичкой по коробку. И вдруг этот быстрый смеющийся говор. Зойка! И не одна! По густому уверенному баску он узнал лебедчика Яшу Буру, двухметрового бобыля, успевшего за свои тридцать лет четыре раза жениться и столько же раз развестись. Бура был из тех избалованных славой рабочих, которые любят, чтоб к ним относились добрее и лучше, чтоб их замечали и ставили всюду в пример. Сысоев был тоже заметным рабочим, однако стеснялся, когда его выделяли. А Яша еще никогда не стеснялся. К тому же он был нахален и смел. Его большие и светлые, с выкатом, как пузыри, глаза постоянно зарились на молодок, особенно тех, которые худо жили с мужьями. Мужики не однажды пытались его проучить. Но Яшу это лишь забавляло: за время действительной службы прошел отличную шко-

лу бокса и мог дать отпор хоть кому. Потому до сих пор продолжал, как хороший судак, безнаказанно плавать среди молодух, выбирая из них ту, к которой сильнее манило. «До Зойки моей добрался», — подумал Сысоев, почувствовав, как в груди оскорбленно и тяжело заворочалось сердце.

Он спустился с крыльца, стал суетливо ходить, но смекнул, что это ненужно и глупо, и поспешил возвратиться домой. Услышав в сенях шаги, схватил с подоконника книгу, раскрыл где попало и прочитал:

И царицу в тот же час  
В бочку с сыном посадили,  
Засмолили, покатили  
И пустили в окян...

Зойка вошла, заносчиво стучая каблуками. Была она плотно затянута в желтый из джерси костюм, сапоги чулки и перчатки. На красивой маленькой голове — модное кепи с невероятно широким клоунским козырьком.

— Чем попотчуеть, муженек? — спросила, вешая кепи.

Володька положил на книгу шершавую пятерню.

— Я и сам ничего не ел.

Жена вызывающе усмехнулась:

— Что же не мог ничего приготовить?

— И ты бы могла! — приобозлился Сысоев. — Где столько времени шлялась?

Спуская замочек по сапогу, Зойка взглянула на долгое, залитое зарей лицо мужика, обнажавшее ревность и раздражение. «Чего рюхает на меня? — скривила губой. — Подумаешь... Супу ему не сварила. А даром. Не каждый день. И так надоело».

Что надоело? Этот вопрос приходил к молодой все чаще и чаще. Она не смела себе признаться, что невзлюбила Володьку сразу после свадьбы. И почему вдруг пошла за него? Да потому, что боялась собственной славы. Славы крали на вечерок, из-за которой могла остаться бы в старых девах, ибо ее уже сторонились все подходящие женихи. Лишь Сысоев не сторонился. Расписался с ней в поселковом Совете и даже виду не оказал, что досталась ему такая. Зойке это пришлось по нраву, и в душе ее выросла была надежда: а вдруг

все наладится хорошо? Но надежда, едва они начали жить, подломилась, как стебелек. Володька с первых же дней своим настойчиво-твердым желанием видеть жену всегда под рукой настроил Зойку против себя, вызвав в ней утомление и досаду. Чтоб реже имать на себе его умоляющие глаза, она старалась куда-нибудь убежать — то в клуб, то к подруге, то просто на берег. Сперва убегала, ища такую причину, чтоб муж поверил и отпустил. Потом перестала искать причину и убегала с шальным удовольствием злой молодухи, которой нравится делать навред. Так и так, полагала, им долго вместе не жить, все равно когда-нибудь разойдутся. Не зная ей, видно, семейного счастья, ее жизнь не к этому привела.

Детство Зойке запомнилось, как сплошные скандальные переезды из одной квартиры в другую, где хозяином всякий раз был чужой человек, за которого мать выходила замуж. Сколько отчимов позади! Сколько разных сестер и братьев! К этой новой родне она питала легкое отвращение и хотела уйти от нее. Но к кому? И куда? Не к кому. Некуда. Не было в мире угла, где бы могла она отдохнуть от своей затяжной неволи. Неволи жить рядом с тем, к кому испытывала брезгливость. А когда из невидной костлявой девочки превратилась Зойка в славницу с полной грудью и темно-сумерчатыми глазами, то стала ко всем относиться с вызовом и подсмешкой, научившись в короткое время пить веселившее душу вино и гулять с кем-нибудь из решительных мальчиков за поселком.

В конце концов запуталась Зойка. Запуталась так, что не знала, как ей и быть. Правда, случались минуты, когда она, вся молитвенно замерев, мечтала о встрече с кем-то близким, с кем-то надежным, кто бы спас ее, выпутал из беды и вернул ей любовь, которую она потеряла. Но проходили минуты, и снова в лицо молодой глядела обычная жизнь, та, что знакома по прошлой неделе, прошлому месяцу, прошлому году, и все опять повторялось, как раньше.

— Надоело! — сказала Зойка, снимая с себя джерсовый костюм.

Не понял Володька, что же именно ей надоело, но, вспомнив, что шла домой она не одна, недовольно спросил:



— Кто провожал?

— Мало ли кто! — ответила Зойка с явным желанием досадить. — Ты ведь, кажется, не ревнивый. Ты культурненький у меня. Куплетики, вижу, читаешь! — Босая, в короткой белой сорочке, с прямыми, черными волосами вдоль круглых, как яблочки, щек, она подошла к столу, ткнула пальцем в раскрытую книгу и выразительно, будто со сцены:

В синем небе звезды блещут,  
В синем море волны хлещут...

Володька поставил ногу на лавку, где чугуны, бак с водой и коробка с картошкой. Сдавил руками виски. Зойка глумилась над ним вызывающе и открыто, и он через силу терпел, как может терпеть только муж, который больше всего на свете любит свою жену, прощая ей колкости и насмешки. Меж тем супруга его продолжала:

Туча по небу идет,  
Бочка по морю плывет...

Сысоев снял ногу с лавки и так повернул лицо, что глаза его захватили сначала кадцу, после жену. И тут он вспомнил свирепую шутку, какую устроил Бура с Маргаритой, с одной из своих первых жен, когда та решила взять его в руки и стала к нему придирааться по каждому пустяку. Три вечера слушал Бура ее клокотанья. А на четвертый вернулся домой пьянее вина, и едва Маргарита открыла свой рот, чтобы попотчевать свежим попреком, как тут же взял ее на руки, вынес во двор, усадил в подострешнюю кадцу и прокатил вдоль улицы до реки. Кадцу еле тогда изловили, а Маргариту, зеленую от испуга, увели успокаивать в фельдшерский пункт.

Сысоев мысленно усмехнулся, представив на миг, что бы стало с его благоверной, если б ее затолкать тоже в кадцу и отправить, как ту царицу, катком до журчащей воды. «Не-е, — мотнул головой Володька, — на такое я не мастак...»

Мерцая лентами белой сорочки, Зойка прошла к стряпному столу. Володька учуял, какшибануло водочной вонью. «Снова с попойки», — отметил и, поймав молодуху за ленту, тихо спросил:

- Муж не пьет, а ты через день?
- Зойка таиться не собиралась:
- У Нинки Архиповой именины!
- У нее и была?
- У нее.
- Но мы же хотели солить капусту?
- Засолим и завтра.
- Нет уж, бубновая, будем — сейчас.
- Но я разморенная, не могу.

Володька ступил в темноту сеней, принес оттуда дощатый кружок:

— Повиляла хвостом — и хватит! Давай-ко, руби кочаны!

Зойку задело:

— Не буду! — сказала скандальным тоном разнужданной бабы, привыкшей в спорах брать только верх. — Сам руби, коли хочешь!

— Заставлю! — Сысоев шагнул к навесному шкафу, взял оттуда бутылку, налил в стакан и выпил. Потом протянул к Зойке руку, пошевелил всеми пальцами. — Они у меня во все стороны вертятся!

Лицо у Зойки красными пятнами загорело:

— Мне? Угрожать? Кто я по-твоему?

— Рыба, — ответил Володька.

— Какая такая рыба?

Сысоев невесело усмехнулся:

— Стерлядь! — И снова налил в стакан.

Зойка от ярости задохнулась.

— Чилявый! — швырнула презрительным словом, каким называли в поселке негодных к супружеству мужиков.

Володька поставил стакан в капусту:

— Надо что-то с тобой придумать.

Зойка забегала, завертелась, схватила платье и сапоги, надела то и другое.

— Нажрался винища! Мало? Дак еще оскорблять? — И повернулась к дверям, подымая руку за кепи.

— Это куда-а?

— На кудыкину гору!

В груди у Володьки похолодело, к чувству обиды вдруг примешалось чувство правоты, которое зло подхватило и повело его. Повело сначала по комнате и по кухне, потом — по задворью и огороду, а там по берегу,

вдоль реки. Он шел неизвестно куда, непонятно зачем. Шаг был резок и раздражен. Душу его казнило от мысли, что он теряет свою жену.

Ласково лопотала струя, обегая корму запрокинутой лодки. Пахло хвоей и печеной картошкой. Где-то в тумане излучи горел чуть видимый костерок. Сысоев метал глазами по сторонам, примечая во всем выжидательность и подглядку, точно вода, силуэты заборов, костер за рекой и сам воздух следили за ним, как за обобраным человеком, желая ему навсегда оставаться таким. Володька сунул в рот папиросу. «Надо сыскать! — подумал о Зойке. — Без нее подобру мне не жить...»

Хрустя крахмальными стеблями лебеды, поднялся до улицы, где бараки, потрогал свои сапоги и не понял: зачем их потрогал? Ощущение было такое, будто он посмотрел на себя откуда-то издали и удивился, что это был он. Грудь его затопляло жалостью и любовью к своей капризной и вредной Зойке.

От длинного плафона на столбе струилась просека яркого света, сквозь которую, как сквозь день, прошли под ручку Бура и Зойка. Сысоев зажмурил глаза. «Неужто ушла насовсем? Гадский рот! Как глупо все получилось. Зачем ее «стерлядь» обозвал? Да и она-то четырежды дура. К кому припаялась? К Буре, пучеглазому балабону. Выпьет он из тебя все соки, а потом за ненадобностью — прогонит. Кому ты экая будешь мила? Мне? Не знаю. Могу ведь, пожалуй, и не принять».

Сысоев вобрал вдох бессильной досады, пологие плечи его опустились, и он с подрубленным видом, точно ему засадили под шею тесак, повернул в проход меж заборов. Треснула палочка под ногой. Володька оперся рукой о забор. В голове, как открытие, зазвенела внезапная мысль: «Ведь не он ее любит, а — я! Ему нужна она, как подстилка, а мне, мне — как воздух...»

Сысоев вернулся к дороге и с нетерпением мужика, решившего взять себе то, что у него отобрали, стал дожидаться, когда к нему подойдут.

Голова Буры маячила в волглых потемках, и показалась Володьке настолько высокой, что он заморгал, ощущая в себе неуверенность и смятение.

Они шли, прижимаясь друг к другу, и рука Буры, белевшая тыльной частью ладони, беспокойно гладила

Зойкину грудь. Сысоев выкривил губы, словно хотел закричать, но сердце вдруг провалилось, как гиря.

Они узнали Володьку шагов с десяти. Переглянулись, перешепнулись и, подойдя, обошли его, как худую корягу.

Сысоев смутился. «Чего стою, ровно пень?» — Обругав себя, он взвинтил каблуками пыль и взглянул с остервенелой тоской на прижавшуюся к плечу двухметрового Яши взлохмаченно-круглую, в кепи головку своей жены.

Они удалялись прогулочным легким шажком. Мимо ворот с деревянными плашками на столбах. Мимо раздерганных волокуш. «Ведь родную жену уводят!» — сдавило меж ребер. Володька сделал движение головой, осадив затылок на шею, и с круто поднятой грудью, не упуская из виду гуляк, зацокал подковками по дороге.

— Это куда-а? — прохрипел, имая Зойку за локоть. Имая отчаянно, как человек, лишаящийся рассудка. — Куда, спрашиваю, заблуда?

— К новому мужу! — съязвила Зойка, вырвав свой мягонький локоть из жесткой руки мужика.

— Чего это ты? Чего? — Сысоев лихим петухом забежал перед Зойкой, попятился задом и, ткнув указательным пальцем в Яшин живот, зачастил на ходу: — Чего придумала, гадский рот? Какой он те муж? Да это же титька! Ерема в штанах! Барахло! Ботало! Балаболка!

Бура улыбнулся. Он был мужиком не только веселым, но и рисковым. Наступая Володьке на сапоги, он сказал снисходительно, мягко, словно увидев в нем инвалида, кого полагается пожалеть:

— Ладно, Вова, не суетись. Шел бы ты лучше домой.

— Один?

— А то как же.

— А ты останешься с ней?

— Так ведь надо кому-то остаться.

Сысоев, сдаваясь назад, чуть не упал, запнувшись задником сапога о твердую складку дороги:

— Ох, и бабошник ты! Ох, и стерво!

Яша остановился. Уж кто-кто, а он-то заведомо знал, где можно и где нельзя отвечать на обиду обидой. Потому, разозлясь на Володьку, он смирил в себе гнев-

ный порыв и начал смекать: как бы лучше ему поступить, чтоб Сысоев убрался отсюда без звука. Убрался, усвоив раз и навсегда, что с ним, с Бурой, осложнять отношений не надо.

— Не надо, Вова, меня оскорблять,— посоветовал он.— Неужто не видишь: она ушла от тебя надолго.

— Не, не... Не может этого быть,— растерялся Сысоев.

— Может!— вмешалась Зойка, решившая прекратить затянувшийся разговор.

— Что-о?— Володька взглянул на жену с испугом.

— Шмоляй отсюда!— В Зойкином голосе прозвела струна сердитого бабьего нетерпения.— Ты мне надоел. Опротивел даже. И очень давно. Вот так. Отвали! Не мешай нам беседовать с глазу на глаз.

В глазах у Сысоева потемнело. Его исхлестанная душа возмущенно взметнулась и понеслась, понеслась в жуткую темноту.

— В гробу я видел такую беседу!— гаркнул Володька и грубо, точно хотел оторвать, схватил узкопалую Зойкину руку.— Домой! Побесилась — и баста! А ты!— нацелил глаза на Бурю.— Сгуляй на конюшню. Там не хватает стоялого жеребца.

Бура отшатнулся, и в повороте его головы Сысоев заметил ту озабоченную тревогу, с какой опасаются сделать что-то неправильно, что-то не так.

— Помоги же ему уйти! — с гневным стоном взвизнула Зойка.

Долгая, как слега, ручища достала Володьку, и он поднялся, взлетел и стремительно опустил, ощущая под головой затравелые комья земли.

Вечер летел над поселком обдерганно-серыми облаками, обещая прохладу, дождик и затяжную угрюмую ночь. Сысоев привстал, очистил себя от земли и, по-сиротски согнувшись, пошел потихоньку к себе домой. В голове отчаянно, словно в дверь, колотилась больная мысль: «Везет мне, как хворому на поминках. Чего вот теперь? Притерпеться и подождать, покуда Буре не обрыднет Зойка и он прогонит ее, как сучку?»

Вечер рос на глазах, становясь угнетающе-темным, огромным, и Володька терялся в нем, как букашка. На душе его было прескверно, точно он совершил непрощаемый грех. Качались макушки дворовых

черемух. Лаял щенок. От реки тянуло закишим душком перепрелой коры. Воспринималось все это погашенно, отвлеченно, словно иная, совсем незнакомая жизнь, которая больше Сысоева не касалась. «Что делать?» — ревел в голове стоголосый вопрос. Володька безвольно пожал плечами. Не трупелое состояние духа, не стыд, не позор гнули его голову вниз, а тяжелое чувство вины, что он не справился с ролью мужа и остался один.

Домой Сысоев пришел растерянным, полуизбитым, лишившимся главного, без чего невозможна нормальная жизнь. Пошел к столу. Посмотрел с лошадиной тоскливостью на бутылку. Пододвинул стакан. «Неужто нельзя ничего поправить?» — спросил, усаживаясь на стул против кухонного окна, на стекле которого разглядел свое отражение.

Он сидел, наклонившись грудью на стол, и во всей его позе, в движении рук, теребивших листья капусты, нахмуре бровей и предмертвой улыбке таилась презрительность мужика, постановившего для себя свести с обидчиком жуткие счеты.

— Еще не поздно, — сказал Сысоев и резко поднялся, зашел в темноту спальни комнаты, где стояли кровать, два стула и телевизор, на ощупь снял со стены ружье.

Жил Бура на краю поселка, на улице Коммунальной, в одной из квартир щитового дома. Сысоев спешил. Боялся, что могут закрыть крылечную дверь, и тогда неизвестно, на что бы решился он дальше. Но дверь оказалась открытой. Переступая порог, увидел ее и его. Сидели в комнате за столом. На салфетке нарезанный хлеб, помидорчики, рюмочки, поллитровка.

Как они всполошились! В одну секунду с улыбчивых щек сбежал нагулянный цвет и лица их стали вянуть.

Сысоев стоял, привалившись плечом к косяку, весь угрюмо светясь от сознания правого дела, что наконец-то он выполнит долг, который так изнуренно его беспокоил. Темное дуло ружья ходило, перемещаясь то в сторону Зойки, то Яши, то между ними, глядя на горлышко поллитровки.

— Каждый получит свое, — промолвил Сысоев. Вид у него был не мстительный, не суровый, скорее уставший, казалось, сюда он явился по чьей-то настойчивой просьбе, и не исполнить ее ему было нельзя.

— Не понимаю,— Зойка отпрянула от стола, мотнув покойнишко-бледным лицом, на котором блуждали глаза, просившие о пощаде.

— Хочу получше тебя запомнить,— Сысоев подправил приклад, и ружье, вызвав электрическим светом, блеснуло тусклым стволом.

Зойка икнула, сморщила нос, но оправилась тут же, нашла в себе силы презрительно усмехнуться и резким жестом отчаянной бабы, которой так и так уже пропадать, рванула за ворот платья, рванула настолько круто, что обнажились сухие лучинки ключиц, кусочек кружев, брителька и родинка меж грудей.

— Стреля-яй!!!

Дуло качнулось, и черный глазок его посмотрел с убийственной точностью на Буру.

Глаза у Яши вылезли волдырями. Он был впервые в жизни напуган, ибо поверил в свой смертный конец. «Так не положено! Так нельзя!» — объявляло его лицо, поплыв затрясшимся подбородком к скрещенным лацканам пиджака. Мимолетный взгляд его глаз покосился на Зойку. «Из-за нее! — возмутился Бура, испытав к молодухе открытую злобу. — Из-за нее пропадать теперь, как собаке! Ну, не-ет...»

— Вова! — Он как-то ватно, расслабленно встал, уронив на скатерть рюмку с недопитой водкой. — С ума ты? Остановись! — Кивнул головой на Зойку: — Из-за кого? Из-за бабы? Да это смешно. У меня с ней не было ничего. И не будет. На кой ляд она мне сдалась!

Дуло заколебалось, пошло круто вверх, и Сысоев, хватая ладонью ремень, забросил ружье за плечо:

— Ладно. Гуляйте, — и повернулся.

Дверь захлопнулась вязко, скинув с кожаного покрова слабо сидевшую кнопку, которая сухо кокнулась о порог и покатилась зигзагами к печке. Бура посмотрел на кнопку, потом — на бутылку. Налил дрожащей рукой. Выпивая, взглянул с осторожцей на Зойку, пытаясь понять: как сильно обижена на него? Приметив на бледном ее лице дряблую безучастность, многозначительно заявил:

— Теперь он в наших руках! Такие шуточки не прощают. Сколько, думаешь, могут дать?

Зойка еще ничего не сказала, лишь повела легонечко шеей куда-то вверх и вбок, а уже было видно, что

в ней назревал отпорный вопрос: «Не слишком ли много хочешь?»

— Ты что? Обиделась? Брось!— Бура искательно умилился и попытался Зойку обнять. Но молодуха ретиво встала и, прикрывая ладонями голую грудь, уничижительно улыбнулась:

— Вонькой козел! Брысь! Видеть тебя противно.

Она ушла, распахнув обе двери так сильно, что петли с минуту, наверно, кряхтели, как старички.

Дул ветер. Где-то на смутном столбе ворот тонко поскрипывал ветрячок. Ночь глядела со всех сторон. Глядела, как одиночество, утомляя глаза безмерной тоской одинаково ровных дворов, где, укрытые тьмой, затаились дома, хлевушки и сараи. «Что натворила я? Что наворочала?— думала Зойка с чувством нависшей над ней беды.— Обидела. И кого? Самого смиренного человека. Ведь он любит меня. Так любит, что даже решился на крайнее. Поднял ружье!— Зойка озябла, открыв неожиданно для себя, что в сегодняшнем вечере самым страшным была ее легкость, с какой ушла она от супруга, чтоб переспать эту ночь с другим.— И почему он не выстрелил? — удивилась.— Почему меня не убил? Ведь я гадкая. Гаже меня и нет. Извела мужика. Целый год играла ему на нервах. А он терпел. До сегодняшней ночи терпел. И вот судьей моим стал. Судьи преступников не щадят. А он пощадил. Для чего? Чтоб расстаться со мной, как с какой-нибудь потаскушкой? Чтоб подольше помучилась я? На кой лесной мне такая пощада? Лучше бы сразу — и дело с концом. Куда мне теперь деваться? Кто меня ждет? Кому я нужна?»

Шла молодуха безмолвными улицами поселка, раздвигая ногами ночь. Мысли бились в ее голове. Потом перестали биться, сузились, обострились, и Зойка с предгибельной ясностью ощутила, что ей осталось дойти до плотов, с которых она уже не вернется.

Миновав последнюю улицу, Зойка свернула к реке, откуда тащило прелью опилок и листьев. С неба стрекнула дробинка дождя. «Вот и пришла»,— вздохнула молодка. Она замешкалась, затопталась.

Два водореза, каток с толстым тросом, якорь, погруженный кран. Все здесь было знакомо, но как-то по старому дню знакомо. И вот теперь, по сегодняшней ночи, виделось Зойке чужим. В желтом свете высокого крана



золотисто перилась вода, и скользившая по текучему золоту лодка казалась нездешней, придуманной, невозможной, приплывшей сюда из волшебного сна. «А может, все это мне снится? И этот вечер, и эта река, и это бегство мое от Володьки?— подумала Зойка с неверной надеждой, но сразу понурилась, потускнела.— Если бы снилось, была бы я самой счастливой...»

Зойка стояла, вбив ноги в дернелую бровку угора, стояла, как птица, чутко насторожась, точно ее кто-то должен окликнуть. За спиной проскрипела дорожная пыль. Зойка испуганно обернулась. Невдали, в электрических, косо летевших с крыльца магазина лучах, прошел осущенный человек. Прошел сквозь поток ослепительно белого света, как сквозь прожитый день, и исчез, ныряя в заулочный омут.

— Володя-я!— крикнула Зойка с отчаянием горестной бабы, еще не совсем потерявшей надежды на жизнь.

Сысоев споткнулся. Поправил ружье на плече. Закурил. Вверху, над его головой, неслись торопливые облака. Внизу, под ними, по слепо мерцавшей дороге бежала его жена. «Для чего?» — не понял Сысоев. А когда молодуха, вся запыхавшись и растрепавшись, остановилась напротив него, спросил отстраненно:

— Что будем делать?

Зойка держала ладони под горлом, прикрыв разрывами платья свою обнаженную грудь.

— Капусту будем солить,— сказала с побитой улыбкой.

Сысоев мотнул головой, словно отряхиваясь от мошки:

— Капусту?

— Сегодня же и засолим!— добавила Зойка сквозь слезы и сквозь улыбку.

— Хорошо,— согласился Сысоев, взглянув на супругу без удивления. Он, кажется, начинал ее понимать. Понимать, как себя и как всякого человека, кто давно и упорно ищет потерянную любовь.

А облака все неслись и неслись. Края их, чуть залитые луной, висевшей где-то над ними, мерцали сталистым свеченьем. Было прохладно. Слышался рокот мотора — далекий-далекий, словно из давнего дня, который нечаянно задержался,

# Среди своих

## Сыновья и гости

Ветки берез мелко вздрагивают, роняя на землю тихие листья, от которых по всем направлениям льется слабый ласкающий свет. «Газик» урчит покойно и добродушно, колеса его, будто боясь обидеть дорогу, бегут, едва прикасаясь к земле.

Возле расшатанных белых прясел, похожих на скачущих по угору козлят, мы настигаем старушку. Уступая дорогу, она с батогом и хозяйственной сумкой метнулась через канаву и долго не понимала: почему же машина остановилась возле нее, и даже дверца открылась, откуда вышел шофер и что-то ей весело объясняет?! Наконец до старушки дошло, что ей предлагают место в машине. Ах, как она удивилась!

Старушка сидела на заднем сиденье, рядом со мной, застыв в каком-то благостно-робком оцепенении. Навстречу летели поля с колешками рыхлой соломы, геодезической вышкой и толпами возледорожных рябин, полыхавших гроздьями ягод. За полями на длинном угоре открылась деревня: два низких бескрыших гумна, деревянные погребки и четыре посада высоких изб.

Был ранний вечер, и солнце спускалось за косогор, поливая лучами двухскатные кровли, колодец с большим колесом и девочку на заборе. Старушка обеспокоенно заозиралась, что-то хотела сказать, но вместо этого улыбнулась, и нам стало ясно, что мы проехали ее дом. Развернувшись, машина прошла к колодцу и встала, едва не заехав на крашеное крыльцо.

— Сюда? — обернулся шофер.

— Гой, куколки! Гой, спасибо! — старушка зашебаршила ладонями по сиденью, забирая батог и сумку.—

Честь-то какая! Ну-ко к саму крыльцу?! Что деется, гой! У всей деревни в начальниковой машине! Чего старик-от мой скажет! Да вот он и сам! Лексей! — крикнула с повелительной ноткой. — Прймай гостеньков!

Мы не успели выбраться из машины, как возле нас забегал юркий, тоненький старичок с серебряной бородой и синими радостными глазами. Помахивая сжатой в руке старомодной фуражкой, он заподталкивал нас к крыльцу:

— Ходчѐй, робята, ходчѐй! Выставáй на крылѐц! Ну-ко такое дело! Старуху мою подвезли? О-го-го! А мы-то себя забытыми чаем. Ан нет!

Пройдя в покои избы, мы уселись на лавку и закурили. А хозяева суматошно и бойко захлопотали. Уж чего-чего только не было на столе, а они приносили и приносили — и соленые огурцы, и рыжики в масле, и холодное мясо, и пироги с голубицей, и мед, и горячие щи. Последним поставлен был самовар, полыхавший внизу, сквозь решетку поддонника розовым жаром.

Мы пересели к столу. Угощаемся. Отдыхаем. На душе ласково и надежно, будто мы дома, возле матери и отца, которые встретили нас после долгой разлуки и очень нам благодарны.

— Сами-то дальные? — наконец спросила хозяйка. Мы ответили.

— Гой, куколки, из кой далины вас сюда занесло?! И часто, чай, это вы?

— Что часто?

— Да в путях-то-дорогах живете?

— Частенько.

— А мы как привязаны ко двору. Всѐ на одном местечке. Стронуть-то нас отселя, гой, как трудненько. За пять километров сползаешь в магазин, вот и вся, буде, наша дорога.

— Неужели всю жизнь никуда из деревни не выезжали?

Хозяйка взглянула на нас с откровенностью простой крестьянки, которой хочется много сказать о себе:

— Мы домоседные с малых лет. Никуда из дому не отлучались.

— Ты что, Антонида, — поправил ее супруг, — я-то ведь отлучался. На целых четыре года, пока шумела

война. А ты говоришь! — Он встал, серебристобородый, тонкий, в бязевой теплой рубаше и валенках с загнутыми верхами. Пройдя до стряпного стола, принес оттуда пустую консервную банку, поставил на подоконник, снова уселся и закурил: — Да и ты отлучалась. Али Устье-то позабыла? Пийсят небось верст отмахала туда да эстоль же и обратно.

— Гой, правда, робята! — вспоминала Антонида. — Ходила на Устье. Было такое, было. Реки-то большой не видела никогда, а тут на нее как вышла да как углядела, что плывет по ней двухэтажная церква, так от страху и задрожала.

— Это она пароход за церкву-то приняла! — объяснил хозяин. — И было же там потехи. Все Устье тогда от смеху понадрывалось!

Мы отпили чай и хотели было поехать дальше, но Алексей сердито закипятился, пробежал по кухне, стал на порог и, раскинув руки:

— О-го-го? Выдумали чего? А кто ночевать у нас будет? Не! Не! Лучше не сподобляйтесь! И не пущу!

Мы снова уселись на лавку и понимающе улыбнулись. В конце концов это не так уж и плохо, когда тебе предлагают ночлег.

Шофер, устав больше всех от длинной дороги, нашел себе стопку журналов «Крестьянка», зевнул и стал бесконечно долго листать. Фотограф начал возиться с аппаратурой. А я огляделся по сторонам.

Кухня была обычной, по левую руку от входа печь с дощатой заборкой, по правую — ситцевый полог, скрывавший большую кровать, и деревянная лавка. На стенах голым-голо, ни полотенец, ни зеркал, ни фотографий, какие обычно бывают в каждой избе. Однако... Я повнимательней посмотрел и в углу, под божницей, заметил три парусиновых картуза — белого, черного и зеленого цвета. Были они с упруго натянутой тульей и твердыми жесткими козырьками, совершенно новые три картуза, которые долго должны бы носиться.

— Чьи? — спросил я старую Антониду, убиравшую со стола.

Она на миг растерялась: тряпка выпала из руки, по морщинистому лицу пробежала тень воскресшей тревоги. Но оправилась тут же, вытерла обе ладони о ситцевый сарафан.

— Эта вот, — показала на белый картуз, — Вани. Эта, — перевела указательный палец на черный, — Коли. А эта, — направила руку к зеленому картузу, — Юры.

Меня осенила догадка, что это фуражки ее сыновей, которые очень давно не бывали дома.

— Это ваши, стало быть, сыновья. А живут они где? Наверное, в городах?

— Гой, нет. В городах, стойно нас, не живали. Все трое в земельке.

Мне стало не по себе, словно я подглядел чужое несчастье, которое тщательно скрыто от всех и не надо бы было его тревожить. Досадуя на себя, я сидел и растерянно слушал, как хозяйка шуршала тряпкой по краю стола и негромким голосом говорила:

— На войну одного за другим забрали. Старшева — в сорок первом, среднева — в сорок втором, а малого — в сорок третьем. Никто не вернулся.

— А фотокарточки сохранились?

— Гой, нет. Фотокарточек не бывало. Только эти картузики и остались. Цвет разный, размер одинакий. Покупала их в тридцать девятом, на Устье.

— Это когда церковь-то спутали с пароходом?

— Ага. Четыре штуки купила, на сыновьев да на батьку. Только один картузик теперь на головке, а могли бы и все четыре, кабы не эта война...

Убрав со стола и задернув белые занавески, Антониде уселась на табуретку и, подперев подбородок рукой, повела подробный рассказ. Сперва про своих «парнеков», после про то, как вернулся с войны ее муж, а потом, как жили они на пару, смертно тоскуя по сыновьям, как шли и дошли по житейской дороге до стариковских годов, в которые только тогда и бывает отрадно, когда в покои их дома заходит нечаянный гость.

— Теперь у нас три гостенька, — сказала хозяйка и, сняв с деревянных катушек один за другим все три картуза, поглядела на нас с надеждой:

— А ну-ко примерьте! Пожалуста? Коли можно...

Мы взяли по картузу и, осторожно надев, посмотрели на старую Антониду. Она стояла в своем полосатом ветхоньком сарафане и водила ладонью по подбородку. Глаза ее были тусклы, и в них томилось желание что-то узнать или вспомнить. Быть может, с помощью нас в этих неношеных картузах хотела увидеть те невозврат-

ные дни, когда жила и она и ее Алексей сердце в сердце с любимыми сыновьями?!

— А четвертый-то где картуз?

— У хозяина. Он с войны воротился, да как надел на свою головку, так до сих пор не сымает.

Мы обыскали глазами кухню и, не увидев хозяина, удивились:

— Дед-то куда твой девался? Вроде, только что был?

— На колхозном дворе, — улыбулась хозяйка, проходя к распахнутой двери, — сторожит там коров. Мы с им подменно на этом деле. Ночь он, да ночь я... — Шаги ее застучали по половицам сеней, и мы поспешили снять картузы, повесив их вновь на катушки.

Возвратилась она минут через пять с голубым широким матрасом.

— Сейчас устелю я вам. Одному на кровати, второму — на голбце, третьему — в той половине. Сыновье-то у нас как раз по этим местечкам спали...

Было тихо, тепло, где-то на печке мурлыкала кошка. Шофер и фотограф заснули мгновенно. А я долго ворочался с боку на бок. От мысли, что мы занимаем места, на которых могли бы сейчас отдыхать сыновья хозяев, становилось неловко, и где-то под сердцем, странно его волнуя, рождалось сочувствие к жителям этого дома.

Утром нас ожидал kloкочущий самовар. Позавтракав, мы попрощались со стариками и хотели было уйти, не забыв положить на угол стола три бумажных рубля, как стремительный Алексей, все в тех же валенках с загнутыми верхами, той же теплой рубаше, догнал нас в сенях, сунул обратно деньги и умоляюще улыбулся:

— Этова не берем. Хватает покуда. А уж коли охота вам расквитаться, так прокатите меня на машинке! Вчера старуху катали, седни — меня.

«Газик» бежал от посада к посаду. Из передней дверцы, высунувшись по пояс, сия серебряной бородой, махал сжатым в руке картузом не спавший всю ночь сторож колхозной фермы, крича при этом так громко, что от нас шарахались курицы и собаки:

— О-го-о! Игнашка?! Это я! Видишь!!!

— Тимофей! Мотри! Мотри в оба! Кто едет-то? Э-э!

— Товарищи-девки! Вот-ка я! Сам Лексей Никонорович Домородцев! Завидно небось? О-го-о!!!

Наулыбавшись и накричавшись на всю деревню, Домородцев сошел наконец с машины, надел на седую голову мятый картуз, единственный из четырех, который так носится долго.

Мягкий свет продравшегося сквозь чашу большого желтого солнца, мурава на проулках, спокойная белая борода старого Алексея — все вокруг казалось нам утешающим, благодарным, склоненным в поклоне к началу осеннего дня, который лениво и медленно разгорался.

Машина рванулась, и мимо нас промелькнул обутый в валенки Домородцев. Он махал парусиновым картузом. Махал озабоченно и прощально, как своим сыновьям, которые навсегда уезжали из дома.

## Фотокарточка в рамке

Сельское кладбище в погожий январский день, когда небо торжественно голубеет и с него на землю устало сползает солнце, похоже на дремлющий городок, в котором, как в настоящем, есть переулочки, крышицы, тропки и даже слышится скрип отворяемой ветром калитки, и грай ворон, и чьи-то шаги. Лишь металлический шелест венков, перевитые на крестах заиндевело-черные ленты да фотокарточки в рамках напоминают о том, что все здесь заснуло самым последним, самым трагическим, по настоящему мертвым сном.

Не знаю, какая сила заставляет меня бродить по белым тропинкам и глядеть на хозяйство покойных людей. Я читаю фамилии, а под ними через тире, как через целое поле жизни, две конкретные цифры. Я подумал: вот ведь живет человек и не знает, когда он окажется здесь. Может, нынче. А может, лет через сорок. Сколько всяких случайностей ожидает нас на пути. И кому-то они сослужат добрую службу, а кому-то и злую.

На той стороне реки — избы большого села. А на этой среди черемух и лип оградки с лесом крестов: чугунных и деревянных, фиолетовых, черных и голубых, полусгнивших от непогоды и широкоустойчивых, как распятья. Я иду по извилистой тропке, усыпанной семечками от лип. Сквозь мерзлые сучья и ветки золотистой пилой пробивается луч. На тяжелом, в богатой оправе венке прикорнула ворона, крылья распахнуты по бокам, вот-вот с криком взлетит и исчезнет в вечерних деревьях.

Мое внимание привлекла василькового цвета ограда. За ней — с двумя крестовинами столб. На столбе под стеклом фотокарточка молодого мужчины. Пологие, вялые плечи, круглое, с полуулыбкой лицо и прикрытые



верхними веками глубоко запряутанные глаза, в которых застыло тоскливое ожидание. На прибитой к столбу фанерке я прочитал: «Армеев Василий Петрович. 1938—1972».

Тридцать четыре года?! Так мало! В самом расцвете сил закончил свой путь. Что могло с ним случиться? Заболел ли неизлечимо? Машиной ли смяло? Попал ли под нож?

Сквозь порывы холодного ветра донесся тракторный лязг. Я слушал его, ощущая досаду и раздражение. Лязг внезапно затих. Сразу стало спокойнее и добрее. Затем зазвучали шаги, такие тихие и глухие, будто кто-то покашливал в кулачок. Я не верил этим шагам. Они, наверное, мне казались. Взглянув на карточку под стеклом, я почувствовал мелкий озноб. На круглое, с ожидающим взглядом лицо набегала улыбка — неуверенная и слабая, с какой начинают о чем-то мечтать и надеяться на удачу. Возникла нелепая мысль: этот Василий Петрович, пожалуй, кого-то ждет и, возможно, даже дождался. Неужели меня? Я передрогнул плечами. Я что-то невнятно пробормотал. И вдруг за моей спиной:

— Э-э? Чего этта надо?

Я в замешательстве обернулся и увидел возле себя в ватных штанах и фуфайке высокого тощего парня. У парня были круглые скулы, щуроватые злые глаза и полого сбегавшие плечи. У меня возникло такое чувство, словно я с ним где-то встречался, но встречался с более старшим, и вот он внезапно помолодел.

— Уж не сын ли его? — спросил я, кивая на карточку в черной рамке.

Парень обмерил меня глазами.

— Ну, — сказал и, сняв рукавицу, подал мне длинную с забинтованным пальцем руку. — Петя Армеев.

Было Пете лет восемнадцать, борода еще не росла и лицо покрывал неистраченный яркий румянец. Отодвинув ногой намет, Петя открыл калитку. За оградой стоял заваленный снегом стол. Петя нагнулся и рукавом ссыпал снег на угол могилы.

— Давай, заходите! — сказал и, вытащив из кармана бутылку портвейна, поставил ее на стол. Вытащил и стакан.

Я зашел, и в ограде стало вдвое теснее. Мы стояли, спинами упираясь в штакетник. Петя сказал:

— Помянем батю. Сегодня как раз памятный день. Как схоронили его — каждый вот год сюда прихожу. Долг не долг, а вроде бы как зовет...

— Мало пожил, — вырвалось у меня.

Петя зубами откупорил пробку, сплюнул ее и сказал:

— Не тот живет доле, кто живет боле. Мой батя после себя заказал мне жить за двоих. А мог бы и по-иному.

— Это как? — спросил я, мало чего понимая.

Петя рукой, в которой держал бутылку, махнул куда-то к кресту:

— Он по ошибке тут оказался. Не ему бы этта лежать, а мне!

Я рассмотрел над бровями Петра две кривые морщинки. Вероятно, морщинки начали жить с того самого дня, когда все это у них случилось. А что же у них случилось? Мне захотелось тотчас же спросить, но я утерпел и машинально взглянул на бутылку. Петр держал ее в правой руке, наклонив горлышко над стаканом.

Разделив вино на три равные части, мы выпили и закурили. Третью часть, оставшуюся в бутылке, Петр поставил под крест.

Солнце зашло, и от старых деревьев спустилась широкая тень. Пахло мерзлой корой, папиросным дымом и снегом. Петр неожиданно сел на стол, упираясь пристальным взглядом в лицо своего отца. Лицо круглое, с безвольным маленьким подбородком и глазами, которые что-то доверчиво ждут.

— Четыре года прошло, — начал рассказывать Петр, — а будто вчера это было. Поехал он по сено за реку. С того берегу. А надо было на этот. Занудилось на кой-то шиш и мне вместе с ним. Я в школе тогда учился, на зимних каникулах был, делать нечего, думаю, развлекусь. А уж так не хотел меня батя с собой. Да я упросил. Едем. Я с батей в кабине, а навалышки сена — на волокушах. С берегу съехали. Река белая-белая. Через нее ни один еще трактор не проходил. Наш самый первый. Дверки открыли на всякий случай. Едем себе. И вдруг слышу, будто бы батя сахар зубами колет. Да эдак-то громко, что я, грешным делом, подумал: уж не челюсть ли изломал? Гляжу на него. А он как взорет: «Сига́й, покуд жив! Сига́й из кабины!» Я бы и выскочил из нее, успел бы, поди-ко, да второпях шапку под ноги обронил. Поднял ее,

на голову нахлобучил. И что бы ты думал? Ханá! Испугаться ведь не успел, как меня залило, кинуло, опустило. После-то мне рассказали. Батя выпрыгнул из кабины. Рыск-пóрыск меня глазами. А меня нигде нет! Глядит в поляныю, куда трактор-от провалился, и бабьим голосом: «Прости меня ради христа!» Потом, говорят, снял ручные часы, кинул на лед и бултых головою вниз! Каким уж манером, не знаю и не узнать, но выволоч батя меня из кабины, да быстренько — вверх. Тут нас обоих и изловили. Меня, как видите, откачали...

Петр замолк, и стало вдруг тихо-тихо, будто со всех сторон к нам придвинулась тишина, да так возле нас и осталась, сторожа покой нежилых переулочков, крышиц и тропок. Вечер темнел, выстилая на небе из звезд золотые ковшики и дорожки. Я взял осторожно Петра за локоть, и мы тронулись меж крестов. Петр шел впереди, говоря с тревожным недоумением:

— Жалко батю. Так жалко. Иной на меня такое найдет, что стаёт все равно: хоть жить, хоть не жить. И безбоязнию опухнет, ничего-ничего не страшно. Скажи бы в такую минуту: поезжай, Петро, по слабому льду за реку. И я бы поехал...

— А на чем?

— Эвон, — кивнул Петр головой в сторону полых ворот, за которыми робко урчал заведенный трактор. — На этой самой машине у нас тогда и стряслось. Уж летом ее достали. Ржа поела, части поразмывало. А ремонтировать мне довелось. Два года меня тракторок дожидался, пока я школу да курсы окончу. Теперь вкалываю на нем. Сегодня в город вон ездил, тресту отвозил.

Петр взглянул на часы, и я почему-то подумал, что часы, как и трактор, достались ему от отца.

— Полшестого, — промолвил Петр, забираясь в кабину. — Матушка баню, поди, истопила. Вы, случаем, не в нашу деревню? В нашу, дак вместе. Давай, залазьте! В бане помоемся. После — в кино. А то телевизор включим. Сегодня, кажися, хоккей...

— Нет, нет, — отозвался я, — мне в другую деревню.

Трактор, пальнув лохмотьями чада, побежал по пологому склону. Река была смутно-белой, неясной, притаившейся, как беда. Несмотря на то, что лед был достаточно толстым, я с тревогой смотрел, как трактор с санями бежал к другой стороне реки.

Был вечер звездного неба, лая собачки сквозь лес и нависших над полем иссиня-темных волокон. К сердцу ложилась бродяжья тоска, вспоминалась далекая мать, и хотелось скорее попасть в жилое. Я шел и слышал сзади себя догоняющие шаги. Но это уж, видимо, мне казалось. И казалось, наверное, потому, что стояло кладбище за спиной и было вокруг безлюдно.

Я спешил на жилой приветный огонь, что уютно рассыпался вдоль реки. Спешил и слышал, как кто-то меня стремительно догонял, кидая по саннику снег и кашляя в мерзлую рукавицу. Я обернулся и разглядел рысцей бегущую лошадь. Сделав в сторону шаг, хотел ее пропустить, но сидевший в санях старичок, потянув вожжами, сказал:

— Кто эт? Васька?

— Нет, нет...

— Все одно. Садися. У нас путника на дороге ночью не оставляют.

Когда я уселся, старик прикрикнул:

— Но, Маршал, но! — и подстегнул коня хворостиной.

Топот копыт. Крошево снега в лицо. Мелькнувший справа ветхий амбарчик. И вот уже мы въезжаем в деревню. Пахнет дымом березовых дров, теплым крупом коня и морозом. На какой-то миг мне показалось, будто я возвращаюсь домой, откуда уже никуда, наверное, не поеду.

Изба, куда председатель колхоза определил меня на ночлег, была крайней к полю и глядела двумя небольшими окнами на кладовую, дверь которой вдруг распахнулась, и оттуда вышла высокая баба. Остановившись, она посмотрела из-под ладони на водянистую серую даль, откуда к нам приближался чуть слышимый грохот. Ничего не увидев, баба захлопнула дверь и проворчала:

— За смертью, что ли, его послали? Целой день катается, демонок. А я жди его тут...

Баба была в мужском пиджаке и маленьких кирзовых сапогах. Походив по террасе и повздыхав, она уселась на угол весов.

Было удушливо жарко, и все вокруг, казалось, готовилось к дреме. Перебежала дорогу собака с огромной костью в зубах. Зарылся в пыль рябоперый петух.

Я сидел у раскрытого настежь окна. У другого окна сидела хозяйка, расторопная старушонка с круглым, как луковица, лицом. То и дело она поворачивалась ко мне и чего-нибудь объясняла. То про коров, которые стали жить «ровно хорошие люди», то про порядок сева на пашне, то про свою покойную мать, носившую прозвище «Лепетунья». Вероятно, она принимала меня за человека, который плохо знает деревню. Из ее рассказов я понял, что к ней на постой встает не всякий народ, а тот, что «пограмотней, покультурней». И состоит тот народ из работников разных районных контор. Не они ли хозяйку и научили все время чего-нибудь объяснять и непременно рассказывать о старинном?

Я глядел на заплывший тучами горизонт, на белую пыль дороги, по которой рядом с рябым петухом ступала

ворона. Глядел на столбы кладовой, подпиравшие крышу террасы, на бабу в мужском пиджаке, дремавшую на весах под жужжание стаи зеленых амбарных мух. Глядя на сонную эту картину, и сам готов уже был задремать, как услышал оклик хозяйки:

— Чё домой-то, Августа, не идешь?

Кладовщица приподняла большое морщинистое лицо:

— Довжность такая, Галина. Век свой кого-нибудь дожидайся.

— А седни кого?

— Генашу.

— Никак, по пшеницу уехал?

— По ее, Галина, будь он неладен. Не парень, а шука. Где девку какую увидит, тут у него и постой.

Пугливо заржав, пронесся гладенький жеребенок. Удушливый воздух качнуло, и потянуло запахом мелкой дворовой ромашки. Где-то на черных задах горелого бора блеснуло, и по макушкам деревьев прошел сотрясающий гром. Запела открытая ветром калитка. Взвихрило пыль, из которой выскочил рябоперый.

В соседнем подворье кто-то прокашлял, шаркнул палкой по лопушкам. Показался старик в плаще с одним рукавом, полинялой фуражке и броднях. Хозяйка, высунув личико за окошко, крикнула:

— Елизар?! Али опять сторожить?

Старик повернул к нам нахмуренное лицо с носом, похожим на муромский огурец, и стукнул палкой по доскам забора:

— Опять.

— Да ить вымокнешь весь?!

— Может, и вымокну.

— Али хорошо, коль простуду поймаешь?

Палка бухнула по жестянке, и та покатилась по мураве, пугая гулявшую на дороге ворону.

— А вдруг у кого загорит? — ответил старик.

Хозяйка слегка стушевалась, но скоро нашлась и сочувственно бросила:

— Как это тебе не страшно?! А, соседко? Ить молоньце все равно: хоть в дерево попадать, хоть в тебя.

— А ты не накаркивай,— посоветовал Елизар, проходя посередке дороги в сторону почты, на углу которой боролся с ветром яркий полотняный флаг.

— Вот мужик,— повернулась ко мне хозяйка,— сколь помню его, ни одной грозы не пропускавал. Все дозорит, как бы чей домик не загорел...

— Что, — спросил я, — были случаи, загорали?

— Одинова был. Запалило у Августы. Так наш Елизар всю деревню средь ночи поднял. Молоком заливали.

— Молоком?

— Ага. Доили коров — и с молоком на пожар.

— И потушили?

— Еще бы не потушить! — сказала хозяйка и с растрепанной головой, из которой выехала гребенка, облокотилась о подоконник и громко, будто в лесу и ее могли не услышать, закричала:

— Эй, Августа! Иди ко мне в избу! У меня Генашу-то и дождешь!

— Это моя подружка,— шепнула словно бы по секрету, — безмужняя, как и я. Только детей у нее никого.

— А у вас?

— У меня сынок. В Вологде, в налоговом учреждении служит.

— А муж у вас где?

— Убит на первом году войны,— сказала хозяйка и снова высунулась на волю.— Иди до меня! Слышь, Густя. Я самовар налила!

Кладовщица, наложив на дверь стальную накидку, перешла дорогу и застучала каблуками сапог по дворовым мосткам. Войдя в открытую дверь, поздоровалась и уселась на коник.

— За стол забирайся! За стол! — приказала хозяйка, мимолетно взглянув на меня.— Гражданина, что ли, боишьсѣ?! Дак он, кажися, не съест.

Августа поднялась и прошла, куда ей велели. От ее пиджака с заплатками на локтях пахнуло амбаром и заляжальным зерном.

Редкий, но крупный дождь запостукивал по крапиве. Блеснул в траве черепок от кринки. Ударило невдали, будто щит со щитом сошлись, и изба мелконько-мелконько затряслась, а по обоям стены юркнула тонкая трещинка, нарисовав фигуру толстого мужика.

Хозяйка, радуясь случаю угостить, принесла на стол самовар, опустила в чайник с обкусанным рыльцем щепотку черного чая. Мы сидели и пили из чашек. За окном серыми дымными полосами лил дождь. Переда домов

потемнели, а дым, стоявший столбом над трубой, швырнуло на мокрую крышу, и он заюлил, растворясь в брызгах и струях. В блеске молний земля вместе с шумящими тополями, качающейся травой и углами изб казалась древней, тревожной, мелькнувшей из давнего-давнего века. Мне даже повиделось, как из зеленой лужи с затопленным колесом выскочил сероволосый маленький водяной, сверкнул прозрачными, как пузыри, глазами, да тут же в луже и захлебнулся.

И вдруг на середине улицы вырос старик, стороживший где, куда и какая молния упадет.

— Век свой-то покоя нет мужику. Председателем — не было и сейчас, — сказала хозяйка.

— И кто его гонит, христового? — поддержала ее кладовщица, — в эдаку непогоду...

Дождь разошелся. Дорога походила на маленькую реку, которая бурно бежала вместе с головками желтых цветов, куриным пометом и сором. Бежала в озимое поле, откуда должен вот-вот появиться трактор с пшеницей. Хозяйка с Августой разговорились.

— Дорожка-то наша дак ой! Какой была, так и осталась!

— Не скажи. Прежде лучше была.

— Лучше, а толку? Сейчас хоть на технике можно, а раньше только пешком. Помнишь, как всем колхозом ходили на Сухону по пшеничку?

— Помню, Галина. В сорок четвертом, как будто. Об эту и пору. Тогда председателем кто у нас был! Елизар?

— А как же! Он самый. Он еще незадолго с фронту пришел...

Под шум законного ливня я слушал беседу двух пожилых крестьянок, и мне рисовалась картина далекого дня.

Вот председатель колхоза заботно нахмуренный Елизар собрал на зорьке людей и тревожным голосом объявил:

— Товарищи бабы! Сейчас, как один, пойдемте на Устье. Привезли на барже посевных семян, и надо их выносить...

— На чем? — перебили его.

Елизар поднял руку и, наклонившись, хлопнул себя по ще.

— На горбу!



— За пятнадцать-то верст?

— За пятнадцать,— сказал Елизар.— Кони, сами знаете, от бескормицы вот-вот ноги протянут. Да и волок такой, что любая телега по грядку увязнет. По нашей дороге, ежели кто и пройдет, так то человек! Поднатужьтесь, товарищи бабы! За эту работу я вам оплачу натурой. С каждого пуда семян по кило печеного хлеба. Ну как?

Толпа молчала, и было в ее молчании угрюмое несогласие с тем, что сказал председатель. Но раздался девичий голос: «Я дак, наверно, пойду»,— и все разглядели пышноволосую, тонкую Густю, да-да, ту самую Густю, у которой месяц назад погиб на фронте ее зазноба, чернобровый, веселый Пашка, работавший до войны кузнецом. Шелест прошел по толпе, а потом недружно, один за другим слышались голоса:

— А може, и мы?

— В самом деле! Али спину сломим?!

— И хлебушка наживем одним днем!

— Давай-ко, товарки, давай-ко!

Пошли, повалили колхозники по дороге. Бабы и девки в льняных пестряках, старики и подростки — в портах и холщовых рубахах. Лапти скрипели до первых луж. Потом стали чавкать. К Сухоне, где стояла баржа, шли налегке, с приятной мыслью о том, что хоть раз за весну можно вволю поесть печеного хлебца.

С Сухоны возвращались со слабой надеждой: только бы донести, не упасть бы, не пошатнуться. Несли сортовую пшеницу кто в берестяных бураках, кто в мешках с наплечными ремешками. Большинство по пуду несло. А Августа и Галина по полтора. Месил сапогами майскую грязь и председатель колхоза, таща на загорбке два пуда зерна. Принесли. Председатель, бросив фуражку-сталинку оземь, отер рукавом пот со лба, улыбнулся и, пожимая колхозницам руки, сказал:

— Спасибо, товарищи бабы! Вот молодцы! Да я о ваших делах мужикам на фронт пропишу!..

— Моему уже не пропишешь,— вздохнула Галина.

— И моему поздновато,— вздохнула и Густя.

Ох, как смутился председатель, у всех на глазах старея сухим и бледным лицом.

Я сижу за недопитой чашкой чая. Мнится мне, будто слышу я голоса из давно позабытого дня. Я внимаю им

и смотрю на хозяйку и кладовщицу, на несломленных ни бедой, ни работой, ни горем русских крестьянок, на плечах которых стоял и выстоял тыл.

...Послышалось хлюпанье башмаков, словно кто-то отчаянно-бесшабашный спешил сквозь грозу, стремясь от нее убежать. Затем, как призрак, из серого колыхания, показался трактор с тележкой. Колеса его были в железной оправе. Августа поднялась.

— Наконец-то,— сказала она и вышла на волю, прикрывшись от ливня мешком.

Трактор подъехал к террасе. Из кабины выпрыгнул белый, мордастый парень в ковбойке и шлепанцах на босу ногу. Хохол непослушных волос на его голове тотчас же расплющился от дождя.

— Черт! — крикнул парень, заскакивая на террасу.— За такие рейсы надо медали давать!

— Какие, Генаша? — спросила откуда-то из-за воза негромким голосом кладовщица.

— Да хотя б «За отвагу».

— Ты, Геня, глупости говоришь. Ведь такие медали дают на войне. А ее теперь нет, слава богу. Давай-ко лучше за дело. Тебе пособить?

Проскрипели стальные петли, и борт тележки упал, тяжело сотрясаясь. Было слышно, как Геня сопел и шлепал тапками по террасе, унося в кладовую зерно, а кладовщица, забравшаяся на воз, перемещала мешки ближе к открытому борту. Дождь лил на нее и с неба, и с крыши террасы. Струи воды переплетали ее темные волосы, бились о плечи, прикрытые мешковиной, и скоро она вся вымокла и устала. Устала так сильно, что распрямилась и задышала открытым ртом.

— Может, помочь? — крикнул я.

Августа слабо махнула рукой и, кажется, испугалась:

— Не, не. Ради бога, не беспокойтесь...

Сердце мое сжалось от странного узнавания. Я увидел вдруг в кладовщице одну из тех работающих, смирных колхозниц, которые в жизни знавали меньше хорошего, чем худого, и, несмотря на это, остались почти чужды к людям. Такими, наверное, могут быть только женщины русских селений, возвращенные в тишине спокойных полей и с родительской кровью впитавшие уважение к человеку.

Проскрежетали замки тележки. Пыхнула спичка. Геня, видимо, закурил. Августа, сосчитав в кладовой мешки, вскоре вышла оттуда и изумленно сказала:

— Тридцать восемь... А тут, в накладной, тридцать девять? Где еще-то мешок?

Геня закашлял, что-то невнятно пробормотал. Августа переспросила:

— Чего? На трясочке? Да ты, Геня, в уме?

— Черт... Кабы знал.

— Чего знал?

— Да где выронил, там бы и подобрал...

— А как теперь быть?

— Не знаю,— сказал тракторист.

— Дак ведь надо, Генашенька, поискать.

— Найду, ежели на то пошло. Вот утром поеду...

— Надо не утром — сейчас!

— Что я с ума?! В эдакую помо́ку?

— Надо, Генаша, надо.

— А наплевать!

— Как это так наплевать?

— А так! Я потерял, я и отвечу! Ежли на то пошло, высчитывайте из получки!

— Да ведь не в этом, Геннадий, дело.

— А в чем?

— В уважение. Легко ли нам хлебушко достается? Геннадий, кажется, рассердился.

— Все! — сказал раздраженным баском. — Хватит! —

И, соскочив с террасы под дождь, пробежал к открытой кабине. — Хлебушко! Уважение! Легко ли! — громко передразнил, хлопаясь на сиденье. — Далася мне пропаганда ваша! По уши сыт!

Двигатель бойко затарахтел. Трактор двинулся. Из-под колес забурлила вода. В свете горящей лампочки над террасой показалась высокая кладовщица. Она запирала дверь на замок.

Мне вдруг стало досадно от мысли, что ей, такой пожилой, уставшей, промокшей насквозь, придется сейчас уходить домой с испорченным настроением.

Кладовщица пошла. Но пошла почему-то в сторону от деревни, туда, где во мраке шумевшего ливня стояла конюшенка с коновязью.

— Куда же она? — спросил я хозяйку.

— Мешок с пшеницей, поди-ко, искать.

Хозяйка вдруг поднялась, забежала за печь, вышла оттуда с двумя плащами. Один — накинула на себя, второй — зажала под мышку.

— Ты тут давай за главного оставайся!

Я приподнялся с лавки:

— Может, и мне?

Хозяйка слегка испугалась:

— Не вздумай, батюшко! Что ты, господь с тобой! Что ты!

Сумерки за окном превратились в густые потемки. Ливень ревел. Клокотали ручьи, затопляя заборы, избы и огороды.

Молния, яростно вспыхнув, вырвала из потемок несколько изб, кладовую с террасой и силуэт спотыкавшегося коня, который с двумя старушками на телеге спешил вдоль озимых полей к горелому бору, откуда, как по гигантским ухабам, бежал нарастающий гром.

## Семь березовых голиков

Ночь. Мороз. Снежный проулок. Над ним небо в кострах созвездий. Неудобно в такой час кого-нибудь беспокоить: огни потушены — и все спят. Но тут невдалеке, за первым подворьем, слышится кашель, затем шаги. Странно видеть такую фигуру: в кожаном фартуке и фуфайке, на плече молодая береза с густыми белыми ветками, не стряхнувшими инею. Захотелось спросить про эту березу: куда и зачем человек несет? Однако спрашиваю другое:

— Как живем?

Человек, оказавшийся стариком, с лицом похожим на вялую редьку, всадил с хрустом березу в снег и повел сердито морщинистой шеей.

— Живем — во! На большой палец! — и протянул к моему лицу эдаким желтым огарком свечи тот самый палец, которым, наверное, не впервые доводилось ему сравнивать жизнь.

— А ты, друг ситный, чей будешь?

Я сказал о цели приезда, но старику было этого мало.

— Родом-то, родом отколь?

— Из Тотьмы.

— Э-эк! — Старик улыбнулся, блеснув большим, но единственным зубом. — Дак мы с тобой, выходит, почти земляки! Я ить бывал в Тотьме-то! Правда, в двадцать котором-то годе. За бабой ездил туда. Привез! Потом, конечно, она померла. Царство небесное. Один и живу вот... — Старик вдруг взял меня за предплечье. — Пойдем-ко давай! А? Пойдем ко мне вечерять! — И он пошел, покачивая березой. — Голиков из нее понаделаю, — сказал, — штук восемь выйдет, поди.

— На продажу?

— Ты что, бог с тобой? Продаваньем не занимаюсь. Так это я, по пути. Ходил в ближний сузёмок рубить на тракторные сани ольшин. Вот и сосек ее для заделья.

Во дворе пятистенка, куда мы вошли, под пригнетом тускневшего снега стояли поленницы дров. Наготовлено их было, по меньшей мере, зимы на три.

— Вон сколько дров! Зачем еще-то рубить?

— Э-э, ситный друг! — хихикнул старик. — Так ить я не себе. Просят людишки. Тому подсоби, другому. Самим-то, вишь, недосуг, робят в колхозе. А я на пенсию вышел. Времечко есть. Помаленьку и промышляю. Ноне уж на осьнадцеть саней нарубил.

— За деньги, конечно?

— А что? Не дикой я, чтоб бесплатно. Деньги-то мне для внука нужны. Посылаю ему каждой месяц. Олексан-от мой по науке пошел. Третьей год на арихметика учится.

— А отец, мать где у него?

— Нигде. Померли. Ешшо в сорок восьмом. Я один у него родитель. — Старик зашел на крыльцо. Открыл дверь, дохнувшую запахом нежилого чулана. На ходу посоветовал: — Ноги тут не сломай.

Коридор был темнее туннеля. Он подвел нас еще к одной двери.

— Вот и дома, — сказал старик, шаря ладонью, под которой что-то щелкнуло, и вспыхнул кухонный свет.

В доме было тепло и просторно. Печь, ровесница старику, вся в глубоких кривых морщинах, глядела на нас темным устьем. Кроме теплой печи, захватившей добрых полкухни, стол с витыми ногами, лавка с коником вдоль двух стен, сундук в шахматной клетке и большой белобрюхий толстяк-самовар.

— Звать-то меня Митрей, — сказал старик, раздеваясь, — а тебя, стало быть, Сергей! Хорошее имечко. Гордоватое, правда. Но ить это не шшо. Отца у меня тоже Сергием звали. Кто-то сказал, что имя господское, вот он и стеснялся, как девка. А ты, стало быть, не стесняешься?

Хозяин разделся: голова без волос, тело тощее. Стоял он на месте две-три секунды, смекая что-то мысленно про себя. И вдруг сорвался, схватил самовар, дунул

в черную горловину, запалил от спички пучок лучин. Затем достал из печи две плошки. Пар поплыл по избе — вкусный, теплый. И «Стрелецкая» появилась. И грибы под нее.

Дмитрий Сергеевич был в ударе. Я следил за полетом его рубахи. Она летала по кухне, как движимая сильным ветром, то бросало ее к сениям, то к полатам, то к дверце голбца, и порой мне казалось, что старик обладает, кроме одной законной, еще одной и наемной дополнительной парой ног.

— Ну и бегаєте вы!

Дмитрий Сергеевич остановился. Поглядел на меня, как сквозь воду, сверкнул единственным зубом:

— Покуда шевелишься, ситный друг, дак и чувствуешь себя человеком. И все дело в работе. Без нее мне нельзя. Для души она мил дружок. Прежде, в молодости-то каретником был. Ладил сани. Для купцов выездные, со зверьками да птичками. А для нашего брата — для крестьян да казаков — попроще, вроде розвальень или дровень. Потом кузнечил. Это уж при колхозе. На карауле стаи стоял. Самое пущее для меня наказание — это когда ничего нельзя делать. На собрание, бывало, придешь, все равно как на казнь. Голова еще ничего, как положено, на плечах. А с руками никакого сладу. Без движенья-то не привыкли, так и ерзают, так и вихляют. Не заметишь, как заедешь на чужие коленки. И хорошо, коль соседу заедешь. А то, случилось, что и суседке. «Шшо ты шшупаешь-то, Митрей? Али я тебе прости господи?!» — рывкнет та на весь зал. «Багулой бы тебе обожраться», — бормочешь сквозь зубы. А смех дичая леснова, со всех сторон. Вот какие пироги едывать приходилось...

Половина первого ночи. Мы сидим за столом. Хорошо, когда длинный день позади и спешить никуда не надо, все на месте и рядом такой собеседник!

— Ну-ко выпьем ешшо по стакашку! — восклицает старик. А через четверть часа, катая в ладонях пустую бутылку, с радостью сообщает:

— А мы ешшо найдем! Ты не спорь, Сергей! Я сейчас! Живо слетаю!

Но слетать ему не пришлось. Кто-то быстрый и шумный пробежал по сениям. Дверь нырнула в потемки. И оттуда бабьим ревом неслось:

— Митрей, ну-ко! Три коровы отелились на стае! Как да худо с имя?

Мой старик встрепенулся, глянул мимо меня и бабы, словно памятью прежних бед вспоминая то, что надо сейчас ему вспомнить. И, кажется, вспомнил. Быстро снял со стены фуфайку:

— Ты, Сергей, извини. Дело такое.

Дверь за ним захлопнулась. Тишина.

Тишина и там, за мерзлым стеклом, где стоит холодная зимняя ночь. Под синееющим светом звезд — две чернеющие фигурки. Все идут и идут. От меня, вдаль, к еловой опушке. Стало быть, там колхозная ферма.

Утром встал я со странным чувством, точно что-то вдруг потерял, а терять-то не надо было. На столе, возле жаркого самовара, сковородки с картошкой и черного каравай лежала записка.

«Сергей. Ты тут командуй, как дома. Меня до потемок не будет. Поехал на тракторе за общественным сеном».

Я растерянно посмотрел на дышавшую жаром старую печь, на разостланный половик, на стол с белобрюхим большим самоваром. Еще более меня удивили семь березовых голиков, что лежали под лавкой и источали запаха зимнего леса. Для чего ему столько? Целых семь? Я задумался и расслышал: «Продаваньем не занимаюсь... Так это я для заделья... Без работы нельзя мне... Самое пущее для меня наказание — это когда ничего нельзя делать...»

Голос доброго старика шел из прожитой ночи и казался мне очень далеким, древним, но понять его было легко, потому что был он голосом русских людей, которые понимаются сердцем.

Час спустя я шагал по открытому полю. За лесным перевалом в лучах зимней зари укрытые снегом лежали северные деревни: Успенье, Гора, Полежаево, Дор, Высокая Грива... Там живут, наверно, такие же старики, как и Дмитрий Сергеевич, про которых в здешних местах говорят:

— Даром, что жизнь годы съела, руки небось любой работе дружки, язык востер, голова при семи палатах. Вот бы встретиться с ними. Со всеми.



Начинал деревню темный, уставший от времени пятистенок, по опушке расшитый древесными кружевами, которые уже побурели и местами покрылись лоснящимся мхом. Дальше стояла изба прошлогодней постройки. От избы навевало чем-то временным, торопливым: углы не опилены, окна в грубо сколоченных рамах. Чуть поодаль, за стаяей берез поднимались два истемна-серых дома, на охлупнях крыш которых застыли головы чутких коней. Дальше шли подряд три новые избы в вызывающе желтой краске. Потом снова седой пятистенок. И опять новый дом. Казалось, кто-то нарочно смешал все дома, выставляя на первый план старые, а на второй — молодые.

Вероятно, здесь жил когда-то большой древодел. Оттого у старых домов вид, хотя и поживший, зато осанисто важный и долговекий. А сейчас древодела, наверное, нет, потому на лицах новых домов такая тихая незаметность.

В свете заката окна изб были похожи на устья печей, жарко пышущих углем. Пахло снытью и лебедой. Суля ведрянную погоду, толклись молчаливые комары.

Я прошел почти всю деревню, как неожиданно остановился. На фронтоне избы стояла скульптура двухметрового мужика. Великан смотрел куда-то вперед, на далекую грпвку леса, над которой медленно таял алый майский закат. Под босыми ступнями надпись: «Василий Лобанов». Кто поставил его сюда? Зачем?

Я прошел по проросшим травой мосткам, потом по крыльцу и прохладному коридору. Открыл обитую войлоком дверь. В комнате, куда я зашел, — два стула, кро-

вать, старинный конторский стол и кактусы в маленьких кадках. За столом сидела чистенькая старушка с белой, как снег, головой. Старушка что-то писала. Увидев меня, со вздохом закрыла тетрадь. Взгляд умный и недовольный, как у всех много думающих людей, которых не вовремя беспокоят. «Учительницей, наверно, работает»,— подумал я и сказал:

— Вот шел мимо вашего дома и решил заглянуть. Старушка стремительно встала:

— Чей? По какому случаю? По лечебному? Ладно. Сейчас покажу.— И она шагнула к дверям.— Коза третью неделю донт голубым молоком. Взглянешь: чего хоть с ней?

— Позвольте... Но я в жизни не лечивал никого...

— Не умеешь лечить? — Старушка, кажется, рассердилась.— Вот так здрасте! А кто ты тогда? От кого? По какому вопросу?

— Да вот, шел мимо вашего дома...

— Слышала! Чего десять раз об одном? Сам-от откуда?

— Из Вологды.

— А работаем где?

Я сказал.

— Документик имеем?

Я показал документ. Хозяйка слегка умилилась:

— Сразу бы с этого начинал. Писать, значит, будем? Кто надоумил? Поди, в райисполкоме? Там помнят меня. Было времечко — уважали! На таком посту почти целую жизнь. Давай-ка, давай! Самоварчик сейчас поставим. Мою жизнь, коли с краю писать,— и тетрадки не хватит. Для себя — так и отметь — почти не жила. Все для общества. Все для людей. Я кем была? Самой темной крестьянкой. Советская власть все дала: хорошую должность, культуру, образование. Председателем сельсовета, как назначили в двадцать седьмом, так до пенсии на этом посту и стояла. И сейчас в стороне от общественных дел не стою. Ты пришел, заметил небось, как я в тетрадочке-то писала. Чего бы ты думал?

— Письмо дочери или сыну...

Старушка уселась напротив меня, посмотрела на бледно-розовые ладони.

— Нет у меня детей. И не было их. Частушки! Вот чего я писала!

Старая улыбнулась, должно быть вспомнив о чем-то таком, что ей доставляло большую радость, и увиделось мне на мгновение под дряблой беленькой кожей красивое молодое лицо с сияющими глазами.

— На это дело талант у меня. Сорок лет как пишу,— продолжала старушка.— В газетах, правда, не помещают. Но в клубе. Как величать-то нас?

— Сергеем.

— А по отцу?

— Петровичем.

— Дак в клубе, Сергей Петрович, ни один концерт без моих стишков не проходит. Сейчас посевная, и спрос на мои сочинения! Есть тут у нас агитаторная бригада. Вот для нее припевки-то и подай. Вчера попросили — сегодня готовы.— У старушки губы тонкие, в ниточку, но она и такие сумела поджать, выражая ими довольство: — Не знаю, Сергей Петрович, насколько они пригожи. Но ты посмотри. Статью-то будешь писать, может, какую туда и сунешь...— И она подала мне тетрадь.

— Статью... Но позвольте,— я растерялся.— Как вас зовут?

— Марией Витальевной. А в чем дело?

— Я, собственно, Мария Витальевна, не за этим...

— Тогда зачем все эти расспросы?

— Расспросы? Но я еще ничего не спросил. Ведь пришел-то я просто так. Увидел под крышей богатыря, и стало так интересно...

Мария Витальевна сильно смутилась:

— Ну об этом писать не надо.

— Да я не писать...

— Все равно. Это личное дело. Общественным тут не пахнет. Ведь Василий-то мужем доводится мне! С живым-то я только год и жила, а с деревянным — почти полвека.— Мария Витальевна глянула на окно, над которым где-то вверху стоял ее деревянный Василий: — А как он тебе? Показался?

— Высокий,— сказал я первое, что явилось на ум.

Хозяйка меж разговором сходила на кухню. Вернулась назад с пузатеньким чайником, на белом боку которого алела гроздь костяники. Подошла к крайней кадце, стоявшей на табуретке.

— Верно,— сказала она.— Такой был и в жизни. Из сантиметрика в сантиметрик. Выше его и не было ни-

кого. В избу, бывало, зайдет, того и гляди выставит потолок. Характером смирный-смирный. Никому-то не досадит. Не скажет бранного слова. А столяр-от был какой! Тайну дерева понимал. Одному балкончик сошьет из тесовых цветов, другому округ окошек дощатых зверьков понасадит.

— И коней на охлупнях излажал?

— И коней.

— А его самого-то кто сделал?

— Я...

— Вы?!

— Ну да! С топориком тоже имела дело. С таким мужем жить, обучишься хоть чему.

Мария Витальевна как-то сжалась, чайник в ее руке задрожал, и струйка воды потекла мимо кадцы, на белый некрашенный пол, и мне показалось, что больше всего на свете она боится быть до конца откровенной, словно, выскажись она вся — и станет ей так беспокойно, что хоть больше и не живи.

— Виновата я перед ним, — сказала она, вздыхая. — Году не пожили вместе. Кабы не тот мой попрек, может, был бы он в здравии и теперь. Убили его. В двадцать восьмом это было. Из РИКа нарочный Сухоруков приехал. Надо было кулачить в пяти хозяйствах. С кем кулачить? Сознательных о ту пору было у нас не лишка. Сидим в этом же доме, за этим же и столом. Водим пальцем по списку. И тут на свою нерадость явись с работы мой Вася. Сухоруков ему: «Вот и сам товарищ — помощник! Пойдем-ка, друг, оприходовать дворики у верхушки!» Мой Вася ни тпру, ни ну, стоит перед ним молчком, только шея краснеет. Сухоруков глядит на меня: давай, мол, воздействуй на мужа. Я, возьми, и скажи: «Пойдем, Вася. Все равно кому-то ведь надо. Не тебе, дак другому». Мой Вася еле губы разжал. «Нехорошо, — говорит, — после с людьми встречаться». Тут попрек и выскочи у меня. Говорю: «Ладно, Вася, справимся без тебя. А ежели кто твою жену избидит, то на обидчиков не пеняй». Ух, как он вспалился! Втроем и пошли по дворам. Сделали дело за ночь. Сухоруков наутро с подводами укатил. А Вася мой жил после этого ровнышко день. Вечером торкнулся кто-то в дверь. Жду-пожду. Никого. Не стерпела. Дай погляжу. Дверину открыла. Господи! Вася-то мой

лежит на крыльце. Вилы-то у порожка настигли. Вошли поперек спины, а вышли сквозь грудь и впились остриёкми в крылечко.

Я зажмурил глаза. Я вздрогнул. Прошрое этого дома метнулось навстречу мне, и я отчетливо разглядел огромного русского мужика, который, ступив на крыльцо, зашатался, пробитый сталью трехзубых вил, и упал на порог родимого дома. Он не хотел умирать. Но кто-то решил за него, что жить ему больше не надо. Кто это сделал?

Глаза Марии Витальевны смотрели куда-то вверх. Странно смотрели, словно видели там кого-то живого, с кем общалась она без слов. Я обернулся.

Над аккуратно заправленной койкой висел увеличенный фотопортрет густобрового мужика с добродушным лицом. Глаза его были большие и грустные, и в их глубине стоял смущенный вопрос: «Я не мешаю вам? Я нелишний?»

— Кто убил-то его? — спросил я как можно тише.

Но спрашивал я напрасно. Хозяйка, должно быть, уже раскаивалась, что была со мной откровенна. Взгляд ее маленьких глаз снова стал умным и недовольным.

— Об этом лишь знайка знает, — сказала она с усмешкой, — а знайка бегает по дорогам. Сколько дорог на Руси, столько их и у знайки. Может, убийца-то жив до сих пор. А кто он? Верхушечник ли какой? Сын ли его? Брат ли? Попробуй-ко разыщи. Да и кому от этого будет легче.

Мне показалось, что Мария Витальевна ответила не вопросу, а чему-то тревожному, прежнему, что давно ее угнетало и не давало спокойно жить. Я вздохнул:

— Да, несчастливо у вас вышло.

— Неправда! Уж кто-нибудь несчастливый, только не я! Всю жизнь за хорошее я стояла. И теперь за это стою. Как жить на себя — не знаю! Зато знаю, как жить на людей! Я на пенсии, а нет у меня ни одной свободной минуты. Сегодня частушки пишу. Завтра в школе на комсомольском собрании выступаю. Послезавтра как ветеран колхозного строя еду в город на совещание.

Я понял свою ошибку. Встал. Посмотрел на единственный в комнате фотопортрет, на окно с выходом на проулок, на стоявшие перед ним зеленые кактусы в кадках, на сухую с белой, как снег, головой хозяйку —

и так неловко стало мне перед ней, что я поспешил попрощаться.

Вечер был теплый. Садись в крапиву мухи. Пахло молоденькой лебедой. Мне почудилось, будто кто-то меня окликнул. Я оглянулся. Босой двухметровый Василий стоял, подпирая большой головой тесовую крышу. Стоял и смотрел на далекую гривку леса, над которой сгущалась зеленая мгла.

## Овсяное зернышко

Я шел к Верхне-Терменьгскому погосту. Долго шел. И пора бы уже увидеть матерые пятистенки, окруженные снежным убором берез, но вдали по-прежнему смутно синел неодолимо понурый ельник. Наконец за сугробистым взлобком показались пологие крыши. Среди них — заносчиво поднятый к небу колодезный журавель.

Что же это такое? С досадой и удивлением я открыл вдруг в знакомом селе незнакомую мне деревню. Избы были низкие. Провода шли всего лишь в две нитки. На заборах морозились половики. Понял я: дорога была кривой и где-то меня обманула.

Я прислушался. Но вокруг морозная белая тишина. Решил зайти в первый дом, чтоб узнать про нужную мне дорогу. Но к дверям его был приставлен батог. И к дверям второго — приставлен и третьего, и четвертого тоже, будто все батоги деревни сговорились между собой и решили меня не пускать в жилбе. Неприютно мне стало. Но тут послышался шорох полозьев.

Вижу: дом нежилой с белым крутым крыльцом, и с крыльца не ступеньки сбегают вниз, а наезженная дорожка, по которой на саночках катится вниз весь укутанный в шаль румянянький человечек.

— Девочка! — окликаю его.

Человек встал, уперев в меня пытливо-серьезные глазки.

— Я не девочка! — сказал с вызовом и обидой. — Я парень!

— Не озяб?

— Никогда не бывало такого! Это мамка так оку-  
лёмала. Не давался ей, да она, вон какая силачка...

— Хорошо, хорошо. А деревня-то знаешь, как назы-  
вается?

— Ну, дяденька, ты и смешной! Я ведь в школу хожу.  
Неужто я Пустошь свою не знаю! Да и ты, поди, зна-  
ешь. Как не знать-то ее. Вон какая большая. Сорок  
домов, да еще и начальная школа.

— А люди где? Чего-то никак не могу разглядеть?

Улыбнулся мальчик губами, солидно так улыбнулся,  
словно прощая мою наивность.

— Да где быть-то им кроме работы?

— А школьники где?

— Воно, глянь! — махнул мальчик вязаной рукави-  
цей в сторону белых кустов, на которых висели шарфы,  
полушалки и шапки. — Тамо угор. Они на лыжах ката-  
ются. А у меня нету лыж...

Мальчик вдруг перестал улыбаться, сделался стро-  
гим, в голубых глазенках блеснул свет тревоги:

— Ты, дяденька, откуда эдакой взялся?

Я объяснил. Мальчик, мало чего поняв, кивнул по-  
добревшим лицом и спросил с нарастающим уваже-  
нием:

— Дак ты голодный, поди?

— Нет, нет.

— Врешь. Вижу. Сам смеешься, а глаза невеселые.  
Пойдем-ко со мной. Я тебя накормлю.

Было что-то хозяйственно-твердое в этом решитель-  
ном предложении, и я отказываться не стал.

Мы свернули с дороги и тропкой направились к даль-  
ней избе. Пока шли, мальчик спрашивал:

— Дяденька, в городах все дома каменные?

— Нет, не все. Деревянных тоже хватает.

— А деревянные где? Посередке али по окрайкам?

— В основном, по окрайкам.

— А в них кто? Живут бедняки?

— Ну что ты, Ванюша!

Мальчик сказал обиженно:

— Ванька-то рыжий и в школу еще не ходит. А я  
Миколай.

— Извини меня, Николай. Но ты тоже хорош! Разве  
газет не читаешь? Не слушаешь радио? Нет у нас теперь  
бедняков.



— А где есть-то они?

Николай был любопытен и хотел за одну минуту разузнать обо всем.

— Дяденька,— спрашивал он меня в двадцатый, наверное, раз,— а писатели люди смелые?

— Есть и смелые.

— А как их узнать?

— По книгам.

— По самым по интересным?

— По самым правдивым.

В избе, в которую мы вошли, было прибранно и уютно. На простенке меж окон — увеличенный фотопортрет, а под ним три ряда розовеющих грамот. «Нине Ивановне Одинцовой за трудовые успехи...» — начал было читать, но Николай схватил меня за рукав.

— Это мамка моя,— сказал,— она у-у какая! Всех забила в работе. И меня все к ней понуждает. Ты, говорит, Ковка, люби работу, а то в большие люди не выбьешься. А я выбиться-то хочу в комбайнеры. Как дядя Гриша! Знаешь, как здорово зернышки на поле убирать!

«Сам-от ты зернышко»,— подумал я, глядя на Кольку, который разделся и стал растрепанным, желтоволосым, как облитый солнцем овсяный сноп.

— Значит, ты уже выбиваешься в люди?

— А как?! Работаю!

— Мамке на ферме, поди, помогаешь?

Колькины руки полезли было с хватом в печь, чтобы достать оттуда чугунок похлебки, но замерли вдруг, разжали хват.

— Ну, дяденька, скажешь? Девка я, что ли? Век свой туда не пойду! Для меня и парнячьей работы хватит!

— А что за работа?

— Да я, дяденька, кажжий день воду на чунках вожу и дрова еще к печкам таскаю. Норовлю на два дома — на свой и на бабки Матрены. Бабка-то обезножела в том году, а родни у нее никого. Вот я вместе с парнями и пособляю.

Я глядел на стоявшего возле печи овсяноволосого Кольку и как бы чувствовал в нем того, умудренного опытом жизни, бывалого мужика, каким он, должно быть, и станет с годами.

На столе дымилась похлебка. Мы обедали с Колькой.

Отобедав, я встал и всмотрелся в фотопортрет, вправленный в синюю рамку, по бокам которой рдели бумажные розы. На меня глядел светлоусый парень с глазами, которые были полны узнаванием и вопросом. «Этоты?» — как бы спрашивали глаза и тут же с готовностью отвечали: «Ну, конечно! А кто еще больше?!» Портрет был настолько живой, что казалось, парень вот-вот раздвинет руками рамку, выйдет оттуда, сядет за стол и, погладя усы, поведет задушевные разговоры.

— Это кто? Папка твой?

— Может, и папка,— сказал неуверенно Коля.

— Он тоже сейчас на работе?

— Не знаю. Не с нами живет. Он в город удрапал. Там новая у него семья. Мы ему ни к чему. Раз к нам приезжал. Мамке платок привез, а мне — деревянную лошадь. Только мы ничего не взяли...

Я стоял у края стола и глядел на Кольку с той охватившей меня заботой, которой можно утешить, но нельзя пособить.

— Чего, дяденька, нос-от повесил? — услышал я Колькин голос. — Давай-ко я тебе поиграю.

На минуту Колька исчез в другой половине избы, принес оттуда потертую хромку, неумело затренькал и вдруг запел:

Кто-то ходит, кто-то бродит  
За рекой у мосту.  
Кто-то уточку стреляет  
Небольшого росту...

Я слушал его игру и удаленькие припевки, каким, должно быть, он научился у взрослых девок или парней. От углов избы начинали уже выползать сумеречные тени. Под печкой, заскакивая на шесты, забили крыльями куры. Игрок неожиданно встрепенулся, поглядел на стенные часы:

— Пойду воду возить, а то ребята уже собрались. А ты, дяденька, отдыхай. Ночевать-то всяко будешь у нас?

Отказался я от ночлега.

— Ну тогда я тебя провожу. Наставлю на путь. А то опять уйдешь по другой дороге.

Вечер плыл по земле — просторный и синий, пахнувший сеном и мерзлыми половиками. От колодца с поднятым журавлем раздался зовущий крик:

— Микол? К бабке Матрене пойдешь?

— Пойду! — отозвался мой маленький спутник.

За деревней, возле заснеженных прясел Колька важно спросил:

— Ты, дяденька, когда теперь к нам придешь?

Я пожал руку в вязаной рукавичке.

— Наверное, скоро, — пообещал и улыбнулся парнишке, как нечаянному дружку, с которым затем и простился, чтоб когда-нибудь встретиться вновь.

Дорога стелилась по полю, сжатая глыбами мягкого снега. По сугробам торчали головки репея. Ветер гнул их к земле, а они не сгибались. Сзади слышались голоса. Я обернулся. От колодца с березовым журавлем, облепив санки с баком воды, торопливо шла стайка парнишек. Среди них был и Колька.

## Чужая печаль

Старикам всегда есть чего о себе рассказать. Такая долгая жизнь позади, а в ней случались всякие повороты. Я люблю расспрашивать старых людей. Каждый из них может поведать такое, чего не знает еще никто. Повествуют обычно они о самых памятных днях, в которые что-то происходило.

Лишь бы не опоздать, успеть встретиться с каждым, чья жизнь висит на тоненьком волоске. Сколько неведомых лиц, неизвестных характеров, подвигов, преступлений уносит от нас стариковская смерть! Так и хочется крикнуть: «Куда же вы, старики! Пойдите, не уходите! Дайте же нам вас выслушать до конца!» Но отжившим свой срок ждать ни к чему, и они уходят с лица земли, чтоб никогда к нам больше не возвратиться. Уходят естественно и спокойно, унося с собой многие тайны былого.

Мне сегодня везет на встречи со стариками. Иду по лесному поселку и вижу то седоусого, в темных очках и соломенной шляпе пенсионера, то бабушку с внуком, то троицу бывших фронтовиков на крыльце продуктового магазина, негромко спорящих о войне. Лесорубы, кто на корчевке дорог, кто на скатище, кто на делянке, потому так тихо сейчас в поселке.

Послеобеденный час. В воздухе теплая дрема. На огородах и крыши стекают лучи растрепанно-белого солнца. Сквозь комья глины, опилки, щепье лезут листики нежной спорыньи, самой вкусной травы поселковых скворцов.

Поселок не то чтобы стар, но и не молод. Основался, видимо, до войны, среди посадок большой деревни, от

которой теперь осталось несколько изб да кирпичная, в два этажа, с барабаном и луковкой церковь. Стены ее облуплены, вместо креста надогнувшийся шпиль, по карнизу стелется травка.

Против церкви — массивный, в восемь окошек со ставнями пятистенки. Из глухого с высоким забором двора доносится голос:

— Накормишь кроликов! Понял?

В ответ — тишина.

— Помидоры польешь!

Опять тишина.

— Да в магазин не забудь по песок. Чего? Чего шалой-то вертишь? Не хочешь?

— Хочу погулять, — раздается слабенький голосок.

— Успеешь!

Калитка гремит железным кольцом, пропуская поджарого человека в долгой, поверх галифе рубахе, забрызганных глиной кирзовых сапогах и цветной тюбетейке. Спрашиваю его:

— Это вы с кем так сурово?

Поджарый глядит на меня сухими и серыми, как из пепла, глазами.

— С кем надо, — сдержанно отвечает, и я слышу в его ответе довольно конкретный совет: «Проходи, проходи. Нечего тут отираться». И все же я спрашиваю еще:

— Интересно, чего теперь в вашей церкви?

По лицу обладателя тюбетейки разливается строгое выражение, в голосе зреет злость, прежняя, скрытая злость, какая в нем копилась, быть может, годами:

— Чего положено, то и есть. А что?

Я гляжу на поджарого с интересом, видя в нем одного из тех недовольных, кто замкнул в себе очень большую обиду. Пытаясь вызвать на разговор, намеренно весело говорю:

— Хорошо тут у вас! Воздуху много, и церковь такая! Вы, случайно, не здесь родились?

— Где надо, там и родился, — поджарый уходит обратно во двор. Калитка за ним вязко чавкает, дребезжа заплывавшим кольцом.

Я сворачиваю в проулок, весь заваленный колотыми дровами. В одном из дворов, возле нового дома замечаю пытящего мужика, который стоит перед ящиком на коленях и коротким веслом мешает раствор.

— Труд на пользу!

Печник поворачивает лицо.

— Угу! — гукает добродушно. Он дороден, велик и стар. Одет в рубаху с короткими рукавами. Голова необычно большая. Не голова, а башка, и на ней светлорусая шевелюра. Почему он стоит на коленях? Рядом валяются костыли.

— Который вам год? — любопытствую.

— Шестидесятой.

— На пенсию, значит, ныне?

Крупножилая, в белой щетине рука подымает ведро, черпая воду из кадцы.

— Еще разок отойду.

— Куда?

— Да на пенсию.

— А разве вы были?

— По глупости отходил. За два годка до войны.— Печник, подливая в месиво воду, кивает к калитке, к которой подходит поджарый старик, своей тубетейкой, короткими скулами и узким прищуром сухоньких глаз напоминая сурового азиата.— Вон поспрошай у ево, как ето так получилось. Ей, Валентин Евтифенч! Расскажи человеку, как ты помог мне до сроку на пенсию отойти?

— Действительно, как? — спрашиваю и я.

Валентин Евтифеевич не отвечает. Молча подходит к ящику, наполняет раствором ведро и уносит его в новобрусчатый дом, в проеме дверей которого влажно мерцает кладка печи.

— Он что, помогает вам печку ложить?

— Угу. В подсобниках у меня. Боле-то он ниче не умеет. А робить-то надо. Ему нонь тожо на пенсию выходить. Вот ко мне и притерся.

— Замкнутый он какой-то.

Печник соглашается:

— Был ерой, а теперь с дырой. Стоял, хоть у махенькой, но у власти. Ловок же был и хитер. В рот заедет да тамо и завернется.

Валентин Евтифеевич слышит все, что о нем говорим, но упорно молчит. Кирзачи его стучают по крыльцу. Он спускается вниз в долгополой, поверх галифе рубахе, которую ветром сдувает с плеча, и ему свободной рукой приходится снова ее натащить на свою одрябелую

тоненькую ключицу. Наполнив раствором ведро, он опять подымается на крыльцо, разобиженный, гордый и недовольный.

Подымается и печник, подставляя под мышки желтые костыли. Смотреть на него и тревожно и больно. Такой был внушительный на коленях и такой стал беспомощный на ногах.

— На своих-то подпоринах был,— говорит с виноватой улыбкой,— любая работа, как шутка. А нонь? Нонь дай такую, чтоб можно токо с колен. Е-ех! — Тяжелые, как утюги, ладони сжимают поручни костылей. Печник забирается на крыльцо. В дверях застревает, на миг поворачиваясь ко мне. И я вижу в его изболевших, погашенно-синих глазах крутую отчаянность человека, который не может смириться, что он навсегда инвалид.

Мне не хочется уходить от людей, которые что-то недосказали. Но старики при работе, кладут в новом доме русскую печь, и мешать им, конечно, не стоит.

По желтой от прелых опилок дороге иду к судовой реке. Улица узкая, только-только проехать машине. В одном из окошек вижу тонкого старика в путевой оранжевой безрукавке. Он поливает цветы. Лицо у него долговатое, щучье, с острым, как клин, подбородком.

— Не устал? — окликаю.

— Это я-то? — Старик улыбается, явно польщен, что приглашают его к разговору. И выбирается на крыльцо, от мягких морщинок около глаз и заигравшей на солнышке безрукавки весь какой-то ласковый и лучистый. Садится он на краешек рундука и, хлопнув ладонью по половице, велит примоститься и мне.

— Тепере чево? — говорит, не спрашивая меня, кто я, откуда и что мне здесь надо.— Тепере на отдыхе. А прежде-то у-ух как горазденько доставалось. Сорок лет из-под елки не вылезал. Да все-то в наклонку.

— Лес, наверно, валили?

— И валили, и трелевали.

— Трелевали на лошадях?

— Не только. Помню, в тридцать девятом, после крещенья шпалу довелось на Кольчугах тесать. С нами был Иван Лопарев, экой медведь, со всево, поди, лесу, а норовом смирный-смирный. Уж заботушки о дровах

нам не было никакой. После работы так упластаеться — еле ноги приволокешь. А Иван, нас жалея, возьмет и протопчет дорогу в снегу, свалит сушину да целиком ее к зимнице и притащит. Нам, четверым, ноша, да и какая! А он один. Хоть бы те что.

А силой не хвастался никогда. Упаси! Мы мостовые брусья к зимней дороге подвозим на лошадях. А он на плече подымет, идет себе, только снежок под ногами визжит.

О ту пору задача со мной приключилась. После масленицы затайки пошли. А снег глубокий, бредешь в нем по самое брюхо. Оплошал я, не вывез одиннадцать брусьев. Кобыленка была берéжая. Сунулся в сторону с ней, сажень отъехал, а дале никак.

С утра все к дому решили податься, а у меня воз в снегу. Понял: на пару ночей так и так в зимнице оставаться, это пока дорогу в снегу прогребу. Сночевать-то бы можно, да как вот с лошадьёю быть: кончилось сено.

Ладно. Проснулись утром темненько. Глядим, а Ивана и след простыл. Куда подевался? Сварили похлебку, поели, тут Иванушко и явись — сырой, покраснелся-то песь, ровно со сплаву. «Откудова в экую рань?» — спрашиваем его. А он светит глазищами на меня: «Степанко, я твои брусья повынес к дороге». Я и сказать не знаю чего. Слезы так и кропятся. Чем, говорю, Ваня, я рассчитаюсь с тобой? «Повно-ко, — отвечает, — не выдумывай ничего». И тут меня вроде кто надоумил. В делянке, около просеки зайцы троп натоптали, и я туда петельки ставил. Хорошо попадали. Двух зайцев заместо гостинца домой решил прихватить. А нет, мерекую про себя. Домой обождется. Принес их с вёшала, говорю: «Ваня, возьми ради бога!» А он наотрез. Машет рукой на меня: «Увези своим ребяtesкам. Ведь четверо у тебя...» Да-а, человек-от какой. Таких ноне еще поищешь.

Рассказчик задумался на минуту, и мне тотчас же явились на ум стародавние исполины, которые нам известны только по сказкам. Неужели возможны они и в жизни. И я спросил:

— Живой он сейчас?

Собеседник погладил сухие коленки, печально вздохнул, и шучье его лицо засветилось слабой тревогой,



а от глаз к волосатым вискам протянулись морщинки, выдавая потерю и грусть.

— Живой. Только от прежнего Лопарева и четверти не осталось. А началось все с того, что в пасху Ваня изрядненько выпил. А выпивать-то бы ни к чему, потому как в хмелю любил малость покуралесить. Катали робята крашены яйца по тропинке. У Вани было четыре десятка, все прокатал. Везло Шурику Еропланову. Тот пришел с одним яйцом, а выиграл цельной картуз. Ваня просит у Шурика взаймы. А Шурик, скупой и некошной, забрал добычу — да и домой. Ваня настиг его у амбара и говорит: «Дешёво нашел — дешево и потеряешь». Поднял амбар у земли за угол и защемил картуз вместе с яйцами меж бревен. Попробуй достань!

Еропланова взяло лихо. Подговорил приходских робят, и те устроили Ване засадку. Парней двенадцать, поди-ко, накинулось на него, да еще с веревочной петлей. Задернули петлю на обе ноги, сшибли его с копылок и давай буздырять кто батогом, кто бляхой, кто гирей. Тут Ваня возьми да и порасстройся. Одним плечом повернул, потом и другим. В минуту всех поывалалял под заплоткой, а двоих, что матерше да поярей, вытряхнул из рубах и велел в один дух обернуться в лавку за водкой. Живо слетали! И в одночасье, на грядках с луком, распили мировую. И Шурик пил наравне со всеми. Но после, когда отрезвел, опять осердился на Ваню и нажалился на него в сельсовет.

А тамо братан у него Валентин, молоденькой да смышленной. При думе тогда Валентин ходил. Кто-то ему из района или из области указал на церковной крест, кой мешал агитировать против прежнего строя. Крест-от богатенькой был, по оба плеча и цепки и бахрома. Валентин и надумал его опрокинуть. Кого вот только заставить? Брата Шурку — в порты накладет. Мужика какова — плюнет в глаза. Тут и вздумал он про Ивана и в этот же день кликнул к себе в сельсовет.

— Худое дело твое, — сказал, — вчераса драку затеял, а после драки спаивал молодяжку. На тебя придется теперь составлять документ.

Ваня само собой растерялся:

— Куда документ-от?

— В органы.

— А это к чему?

— А чтоб ты подрывом общественной жизни не занимался.

— Я???

— Ты!!!

Иван стал белее почтовой бумаги. Не бывал в таких переплетах. Схватил Еропланова за пиджак:

— Валентин! Христа ради! Все сделаю, только документ не составляй!

А Еропланову это и надо. Поджал зменстые губы и говорит:

— Высоты не боиссе?

— Ничуть.

— На церкву залезть сумеешь?

— Сумею.

Договорились. Иван, горячая голова, не подумал, на что идет. Поверил сказочке Валентина, мол, ежели спилит он крест, то ему весь сельсовет, весь район и даже вся область спасибо большое скажут.

Залез на церкву, как только стемнело. Один-то конец ужищ накинул удавкой на крест, другой-то — сбросил на землю. А на земле Еропланов с парой лесхозных быков. Привязал веревку к телеге и ждет, когда Лопарев мелкозубкой подрежет крестовый держак.

Об эту пору шел я с деляны домой. Вижу такое дело, как заблажу: «Ванька, побойся бога! Что же ты, враг! Отступись!» И Ванька опомнился. Постоял, подержал за луковицу руками — да пилу нарошно и оброни. Валентина малость не разорвало. Во всю матушку на быков: «Но, змеи! Но!» Крест немножко и пошатнулся. Ваня за цепки его схватил, удержать-то, лихонькой, хочет. И удержал бы, да Валентин хвостанул быков батогом. И Вани как не было на макушке. Упал в подцерковную лебеду.

Рассказчик запнулся, на шее его часто-часто затикала жилка, и я представил тот ужас, ту боль, то жуткое наказание, какое мог вытерпеть человек, упавший с крестом на гибельно-твердую землю. А ведь мог бы и не упасть. И какое такое упрямство может заставить презреть человека заведомо явную смерть?

— Неужели он жив? — спросил я с сомнением.

Старик мотнул подтверждающе головой:

— У нас в поселке живет. Не знаю, каким интересным чудом его воротили на этот свет. Ведь было изло-

мано все: и руки, и ноги, и обе ключицы. Лежал уже под святыми. А нет ведь! Видать, не пробил его час.

Мне стало немного не по себе, будто я открыл заперщенную дверь и вошел к несчастному человеку, которого сразу узнал, отчего смутился и удивился. Стало быть, месивший раствор безногий печник и есть тот самый Иван Лопарев!

— Так вот почему ему дали пенсию до войны,— подумал я вслух.

— А недолго и получал.

— Недолго?

— Года, поди, полтора. А как война началась, пошел на работу. Сперва ходил на граблевищах, после — на костылях. Лес лучковой валил. И подминало-то много раз, то осиной, то елкой, а от работы не отступал. До самой победы пластался. Да он и теперь на работу ходит. Его не пускают, а он идет. «Я,— говорит начальству,— инвалидом себя не считаю, и вы меня не считайте». После войны профессий десять, поди, сменил. Сучки обрубал, десятничал, даже столярил. Тепере вот печи кладет.

— А подсобником у него,— спросил я, предполагая,— не этот, не Еропланов?

— Он! Он! Два врага, а работают вместе. И ничего. Спорят только друг с дружкой часто.

То, что спорят они, мне пришлось убедиться в этот же вечер. Я шел к пароходу по хлопающим мосткам и не мог, конечно, не задержаться, когда услышал их голоса. Старики стояли друг против друга, Лопарев, опираясь на костыли, Еропланов, поставив ногу на ящик. Оба курили.

— Погодка-то, а, Иван? Душа оживает! — говорил восторженно Еропланов.

Лопарев придирался:

— Твоя уж не оживет!

— Ну нет! Чую, как воздымает!

— Твоя душа, Еропланов, подохла сорок годов назад.

— А твоя?

— У моей души смерти нету. Вот ты, Еропланов, здоров, а не годен, а я и увечен, да человек...

Они стояли лицом к лицу, и разделял их дощатый ящик. Как так? — подумалось мне. — Всего лишь маленький ящик. А должны бы их разделять многие-многие

километры. Так разделять, чтоб они никогда не встречались друг с другом. А они работают вместе. Вместе ложат русскую печь.

Еропланова я понимал. Ему надо до пенсии дотянуть. Но Лопарева понять не мог. Почему же печник работает с тем, кто однажды толкнул его на погибель? Неужели простил? И откуда такое у русского мужика! Не от слишком ли щедрой его души, которой дано даже много прощать и нести на себе крест не только своей, но и чьей-то чужой печали?

## Полушубок для Мити

В сельповский бревенчатый магазин с широким, едва не во всю боковую стену, крыльцом я вошел вслед за бабой в плюшевом черном жакете и пожилым мужиком. Видимо, были они издалёка, и лица их разгорелись от долгой ходьбы, а на валенках, как по ним ни хлестали березовым голиком, осталось-таки порядочно снега, который теперь оттаивал и следил.

В магазине прохладно и сумеречно. За прилавком в халате поверх фуфайки лет пятидесяти продавщица. Лузгает семечки. На вошедших взглянула тускло, будто сквозь прошлогодний сон.

— Ну-ко, деушка! — подлетела к ней баба в жакете. — Отпусти нам мужчинский-то полушубок!

— Нету! — сплюнула продавщица скорлупку.

Баба, несколько ошалев, грозно глянула в рот продавщицы:

— Как это нету?!

Пожилая хозяйка прилавка, прихлопнув ладонью звучный зевок, прошла по бабе опытным взглядом, каким оценивают людей. Оценила, видимо, низко.

— А так. Спыхватились поздно. — И снова за семечки принялась, как бы этим давая знать, что ее беспокоить может не всякий.

Мужик почему-то вдруг покраснел и сделал руками жест, приглашавший бабу на выход:

— Ладно. Что делать-то. Живет и без шубы. Пошли.

— Да ты, Митрей, чево? С печи сваливсе? — повысила голос баба и, поправив на подбородке платок, пошла вплотную к прилавку.

— А ты хватит, буде, дорить-то! Ишь, расплеваласы! Выкладай, говорю, полушубок!

Продавщица оторопела, но тут же пришла в себя и холодно улыбнулась.

— Ну, живо, буде! Нам недосуг! — добавила баба.

Хозяйке прилавка, видимо, стало обидно, что с ней обращаются слишком грубо, и она поглядела на бабу с досадой:

— Орать? На меня? Да я вас обих на пятнадцать суток! Вот небось и свидетель! — показала рукой на меня. — Будете знать, как матюкаться в общественном месте!

— Сади, но только сперва шубу подай! — Баба розовым кулаком простукала по прилавку. — Туто! Туто он! Небось вижу! Так что вымай! Мерить будем!

Продавщица немного смутилась и сказала, как когда-то говаривала неугодным пришельцам:

— Вы не из нашей деревни. Вам не положено.

— Ты сама придумала? — блеснула баба глазами. — Или чье приказанье? А ну как я в контору схожу? Да проверю для антересу!

Продавщица вздохнула:

— Ладно. Свяжешься с вами. Жизни будешь не рада.

— Верно, деушка, — согласилась охотно баба, — связываются-то с нами одне дурачки, а ты, сразу видать, не из ихней компании.

Продавщица достала из-под прилавка свернутый полушубок. Баба бережно развернула:

— Ну-ко, Митя, давай!

Ухмыляясь, пыхтя и робея, Дмитрий стал надевать полушубок — прямо на стеганую фуфайку.

— Милушко, — подсказала ему жена. — Эдак-то, поди, не налезет. На пенжак накладай. Вот так! Ишь как тебя изменило. Ровно служащий.

— Верно, верно, — сказала и продавщица, подобрев немного лицом, — представительный стал. Еще бы порфельчик — сошел бы за сельпоськое руководство.

Дмитрий прошелся по магазину, поодергивал полы, карманы опробовал и сказал, словно было ему кого-то нескончаемо жаль:

— Ну-ко эдакой новенький, да и мне?! Даже как-то неловко!

— Ничего! — сказала хозяйка прилавка. — Привыкнешь. Ишь какой раскрасавчик! Шапочку еще бы другую.

Ну хотя бы вот эту, с хромовым верхом. На-ко примерь. А то что у тебя за шапка? Ровно корова лизала.

— Сиди! — вступилась за шапку его жена. — В первый раз надел — и корова? Сама ты корова!

— Кто — я??? Да я за такие...

Вспыхнул спор, бабий, необязательный. Дмитрий, чтобы ему не мешать, ускользнул потихоньку за дверь. А жена его долго еще швырялась горячими, как угли, словами. Наконец, напугав продавщицу и сама напугавшись, вспомнила, что пора бы уже и домой.

Дмитрий ждал на крыльце. Одет почему-то снова в фуфайку. Супруга спросила:

— Ты чего это? Чего шубу-то снял?

Крупное, с ясно-карими кругленькими глазами лицо повернулось в сторону бабы:

— Поберегу только. Новое. Наодеваюсь еще...

Невдали, по дороге, заваливая с борта на борт, показалась колхозная автомашина. Мужик с бабой наперерез. Подняли руки:

— Сто-ой!

Забрала машина супругов, фыркнула и, давя колесами снег, побежала в сторону поля, которое в свете дневного солнца спокойно и ласково серебрилось, играя складками переметов.

# В Николе в гостях у Николая Рубцова

## Воспоминания

В жизни каждого человека были лучшие дни, которые, вспомнив, хочется долго хранить возле самого сердца. Для того и хранить, чтоб вздохнуть тишиной былого, принимая ее душой, как бесценный подарок. Припоминая такие дни, я вижу воспетое Николаем Рубцовым северное село, в котором смешались большие и маленькие дома. Вижу расшатанные заборы, березы с тяжелым навесом листвы. Вижу зеленый угор с черной баней, тропинкой и огородом. Вижу бревенчатую избушку, одно оконце которой светло и грустно смотрит с пологого косогора в сторону маленькой речки Толшмы.

Затерялось село Никольское в самой глубинке России, среди осиновых перелогов, речушек, боров и овсяных полей. У села нет громкого имени. Как вспоминают старушки: «Из века в век тут крестьянствовали, подымали хлеба на нивках, держали коров». Тем не менее здесь, в Никольском, в сороковые годы во время войны открылся детдом, куда свозили сирот, среди которых был и маленький Коля.

Здесь, на родине тотемских землепашцев, вырос русский поэт, который умел через облик обычного человека, через избушку на косогоре, через речку, бегущую по камням, увидеть Россию с ее прекрасным и смелым народом, с ее страстями и доброй душой.

Я встретился с Николаем впервые, когда ему шел пятнадцатый год. Маленький город Тотьма. Лесотехнический техникум. Золотой листопад монастырских берез. Первые дни учебы. Как сейчас вижу идущего в окружении шумной ватажки ребят русоволосого, с очень живым, загорелым лицом улыбающегося подростка, которому все кричат:



— Давай, Никола! Давай!

И подросток, подламывая локтями, рванул лежавшую на груди красномехую хромку и неожиданно резко запел:

Куда пошла, зелена рать?  
Гремела рать, зелена рать.  
Пошла я в лес, зелена рать,  
Грибы ломать, зелена рать!

Это был любимец нашего первого курса Коля Рубцов. Потом, спустя годы, когда я с ним снова столкнулся в Тотьме и напомнил ему эту его песню, Рубцов изумился:

— Неужели это я написал?

Не мне одному, а всем тридцати студентам, кто учился в группе с Рубцовым, было известно, что он сочинял стихи, записывая их в ученическую тетрадь. Почти все стихи Рубцов исполнял, аккомпанируя на гармошке. Позднее, когда Николай, не закончив двух курсов, уехал в Архангельск, тетрадь со стихами осталась в группе. Многие руки ее листали, пока тетрадка не затрепалась, а потом и вообще куда-то пропала. Уже тогда в этих во многом несовершенных стихах ощущалась отчаянно-резкая нотка, которая в будущем разовьется и даст его лучшим стихам высокие крылья, подымет их в зачарованно-страшную высь, с которой так далеко видны рубцовские горизонты. И к тем горизонтам будет поэт постоянно спешить, стараясь весь мир увидеть своими глазами. Без движения не мыслима для Рубцова жизнь. Россию он колесил по воде, по рельсам, по воздуху, по проселкам. И если в юные годы отрадой было ему стремление мчаться куда-то вдаль, то в зрелые — возвращаться к родному порогу.

Все движется к темному устью.  
Когда я очнусь на краю,  
Наверное, с резкою грустью  
Я родину вспомню свою.

Родина для Рубцова была только там, где любимые с детства места, близкие лица, друзья, которым он доверялся и доверял. Село Никольское, Тотьма — вот адреса, куда он всегда спешил, зная, что здесь для его мятежной души будет покой и отдых.

...Я словно летел из неволи  
На отдых, на мед с молоком...

И где-то в зверином поле  
Сошел и пошел пешком.

Тотьма его поражала своей деревянной радостной красотой, уютом реки, топей и улиц, гудками буксиров и паровозов, обломками древних монастырей, церквями, глубокими рвами, своей историей и народом. Рубцова всегда привлекали незаурядные лица. Тотьма же ими была богата во все времена. Здесь во время крестьянской войны Стеньки Разина был казнен один из его атаманов Илюшка Пономарев. Здесь бывал не однажды царь Петр. Здесь родился и жил Феодосий Савинов, автор известной песни «Слышу пенье жаворонка». Здесь отбывал царскую ссылку сподвижник Ленина Анатолий Васильевич Луначарский. Здесь рисовал свои замечательные пейзажи Феодосий Михайлович Вахрушов. Здесь у Рубцова писались стихи о сегодняшнем, будущем и былом. Сколько прекрасных стихотворений было навеяно образом Сухоны, этой спокойной равнинной реки с ее берегами, чайками и плотами.

Если Тотьма пленяла Рубцова нерастратенной русской душой, глядевшей из окон каждого дома, каждой калитки и каждого палисада, то Никольское волновало его близостью встреч. Встреч с родными полями, мостиком через Толшму, двухэтажным старым детдомом и, конечно, любимицей-дочкой Леной.

С каким неуверенным, затаенным счастьем плыл Рубцов по Сухоне на пароходе, везя в своем потасканном чемодане кулек шоколадных конфет или яблок. Хотя и скрывал Николай свою отцовскую нежность, но она прорывалась в нем через край, и потому, подплывая к Усть-Толшме (откуда дорога вела к селу), он спрашивал всякий раз:

— А может, другое чего купить? Не конфет, не яблок. Может, какую-нибудь игрушку?

Этот вопрос для Рубцова был слишком важен. Не случайно в одну из таких поездок он напишет печальную песню о девочке, маме и кукле.

Каждая встреча с родиной детства, где прошло испытание на живучесть и где расплатой за добро служило только добро, открывала Рубцову глаза на обыденный сельский мир, в котором малое превращалось в большое. Сердце билось взволнованно. Рождались бессмертные строки. Не зря после долгих скитаний по мрачным морям,

после жизни в Мурманске и Ленинграде, он вернется в свою Николу, о которой с такой теплотой и любовью напишет:

Люблю я деревню Николу,  
Где кончил начальную школу.  
Где избы просты и прекрасны  
Под небом свободным и ясным...

Позднее он это четверостишие наполовину изменит, и по книгам оно пойдет в новом виде. Но и в этом и в том варианте душа поэта настолько обнажена, что ее, казалось, можно коснуться руками.

Так за что же поэт так любил деревню Николу? И скучал он в ней очень часто, и жил без гроша, и раздражали его то плохая погода, то скучные разговоры, то злая необходимость искать и нигде не найти работы. И все же тянулся к своей Николе. Мог жить здесь долгими месяцами. Порою срывался куда-нибудь в Липин Бор, Вологду, на Ветлугу, говорил, что пробудет там целое лето, а возвращался через неделю, многое — две, и был каким-то уставшим и недовольным. Никола дала Рубцову много минут тишины, много минут того самого настроения, при котором поэт работает и живет.

Мне посчастливилось быть в Николе в те самые дни, когда Рубцовым владело хорошее настроение. Вот один из тех дней.

Было летнее утро — влажное, голубое, словно вымытое в реке и подсыхавшее на припеке. По крайнему к Толшме посаду я подошел к темнокрышей избе с крыльцом, поросшим крапивой и лопухами. Что позволяло меня сюда? Ну, конечно, письмо.

«Здравствуй, Сережа!

Я снова в своей Николе. А ты? В своей ли Тотьме? Что-то я не вижу в здешних газетах твоей фамилии. Может быть, ты уехал или отъехал куда-нибудь, и мое письмо не застанет тебя дома?

Живу я здесь уже месяц. Погода, на мой взгляд, великолепная, ягод в лесу полно, — так что я не унываю.

Вася Белов говорил мне, что был в Тотьме, был у тебя. В Тотьме и у тебя ему понравилось. Да иначе и не может быть!

Хотелось бы мне встретить тебя, тем более что у меня есть к тебе дело. О нем я пока не стану говорить. Думаю, что заеду в Тотьму, вот тогда об этом и поговорим.

Ты обязательно, я прошу, дай мне ответ на это письмо, если ты дома. Я буду знать, что ты никуда не уехал. А иначе (если ты уехал) и в Тотьму мне заезжать нечего.

Может быть, ты возьмешь командировку опять в Ни-колу? И тебе неплохо несколько дней пошляться по этой грустной и красивой местности.

Ты не видел моих стихов в «Молодой гвардии» и в «Юности», 6-е номера. Я не доволен подборкой в «Юности», да и той, в «Мол. гвардии». Но ничего. Вот в 8-м номере «Октября» (в августе) выйдет, по-моему, неплохая подборка моих стихов. Посмотри. Может быть, в 9-м номере. Но будут.

Какие у тебя новости? Как живется тебе? Как пишется?

Жду от тебя письма. До свидания.

Крепко жму твою мускулистую руку!

С искренним приветом Н. Рубцов.

Мой адрес: Тотемский р-н, Никольский с/с, с. Никольское. Привет твоей маме. 27/7. 64 г.

Пиши ответ скорее: мои каникулы уже на исходе. Во второй половине августа уеду отсюда».

И вот я на крылечке старого дома. Войдя через сени в полуую дверь, слегка удивился. В комнате был такой беспорядок, какой невозможно вообразить.

Из горенки выплыл детский крик, а вслед за ним выплыл и сам Рубцов. Был он в шелковой белой рубаше, без брюк, босиком, перекинутый через лоб жидкий стебель волос и мигающие глаза выражали досаду на случай, заставивший стать его нянькой.

— Это Лена моя! — улыбнулся Рубцов и посадил притихшую дочку на толстую книгу.— Гета с матерью ушли сенокосить, а мы пробуем прибираться. Вернее, пробует Лена, и я ей все разрешаю.

— А для чего?

— Маленьким надо давать свободу,— сказал Николай,— пусть делают, что хотят. Когда вырастут, этого им не позволят. И потом, ты знаешь, ей так правится беспорядок!

При этих словах по полу с грохотом прокатилась бутылка с красной наклейкой, которую Лена нашла под

столом, попыталась взять в ручки, но та не далась — и вот крутилась сейчас у порога. Николай рассмеялся:

— Вот видишь! У нее страсть к разрушению!

— Но так и хорошее можно что-нибудь изломать?

— А вон,— показал Николай на ручные часы, вернее, на то, что когда-то было часами, а теперь валявшееся в углу с разбитым стеклом и покореженным циферблатом.— Еще утром ходили. Но я ей дал поиграть...

— Теперь без часов вот остался?!

— А что мне часы! Без них даже лучше. Спешить никуда не надо. Живи, как подскажет тебе настроение.

В небольшой светлой горенке, где порядка было не больше, Николай отглаживал брюки, но мой приход на минуту его отвлек.

— Сейчас Гета с матерью придут с сенокоса,— сказал он, снова включая утюг,— и мы с тобой обязательно погуляем. Я тебя познакомлю с моей Николой. Ты ведь здесь бывал только раз?

— Только раз.

— Ну и отлично! — Николай прижал утюг к мокрой марле, и марля с шипеньем закурилась.— Вчера ходил на покос да попал под ливень. Вот и приходится гладить...

В кухне, откуда мы с Николаем ушли, раздалось дребезжание. Я метнулся было туда, но Рубцов задержал:

— Не надо! Это Лена будильник катает. Пусть!

В горенке вдруг посветлело, и по стене, где висел портрет молодого Есенина, порхнула куделька лучей. А минуту спустя солнышко всплыло в оконце, как огромная белая рыба, от которой утюг в руке Николая покрылся слитками серебра.

— На, пока почитай! — Рубцов протянул мне стопку листов.

Я повертел их туда и сюда, но ничего не увидел и изумился:

— Но они же все чистые?

— Ах, да! — вспомнил Рубцов.— Ведь я их в журнал отправил.

— Черновики-то остались?

— Черновики у меня редко когда бывают. А у этих стихов не было вообще.

Я вновь изумился:

— Но как же процесс сочинения? Ведь ты же сидишь за столом и, наверное, пишешь ручкой?

— В том-то и дело, что не пишу. А если пишу, то обычно без ручки.

Николай оделся и, подойдя к кровати, выдвинул из-под нее чемодан. Когда стал рыться среди бумаг, я разглядел угол какой-то морской газеты. Взял ее и только успел развернуть и прочесть «Стихи Николая Рубцова», как услышал:

— Не тронь! Это худые стихи. Я писал их во время службы на корабле. До сих пор не пойму: почему я их сохранил?

Он вынул книгу в бархатном, желтом, потрепанном переплете «Сочинения Ф. И. Тютчева». Подавая ее мне в руки, Рубцов сказал:

— Вот поэт! Сильнее его я не знаю!

— А Пушкин?

— Они друг другу равны.

— А Есенин?

— Он тоже великий поэт.— Николай задумался, и лицо его стало немного мрачным и беспокойным, но вдруг, тихо повернувшись ко мне, повеселевшим голосом пообещал: — Свои стихи я тебе вечером напишу. А сейчас погуляем! Вон сенокосцы идут! — кивнул на проулок, по которому в белых платьях и белых платках шли мать и бабушка крохотной Лены.

— Сначала купаться! — сказал Николай, спускаясь по склону среди колокольчиков и ромашек. И я увидел на загорелом его лице праздничную улыбку.

— Иди скорее сюда! — кричал Рубцов от самой воды, куда пробрался сквозь мощные заросли краснотала.— Я тебя подожду! Здесь так хорошо! Как в раю! Ну что же ты там задержался?

Перед нами проворная Толшма. Речка мерцала, была неподвижна, ленива, и вся рыба, какая в ней есть, казалось, заснула и больше уже не проснется. Но вот Николай прыгнул в маленький омут — и вода пробудилась: вскипели на ней веселые всплески, и где-то у самого дна заскользили, как тени, серые рыбки. Уж так Николай плескался, махал руками, кричал и шумел! Забирался на изгородь или камень и летел стремительно вниз. Накупавшись, мы шли, огибая Никольское вдоль реки.

— Ты, Коля, о Толшме что-нибудь написал?

Но он не ответил. Лишь посмотрел на меня каким-то далеким-далеким взглядом и снова направился вдоль

реки. Я уже и забыл о своем вопросе, как Николай неожиданно сел на коряжку и улыбнулся, как человек, который что-то нашел и хочет найденным поделиться:

— На реке,— сказал Николай.

Я не понял:

— Что на реке?

Рубцов улыбнулся:

— Так называется стихотворение, которое я сочинил. Хочешь послушать?

— Еще бы!

Николай закурил.

Реки не видел сроду  
Дружок мой городской,  
Он смотрит в нашу воду  
С боязнью и тоской.  
Вода тепло струится,  
Над ней томится бор,—  
Я плаваю, как птица,  
А друг мой, как топор.

Прочитал и немедленно рассмеялся:

— Это не ты, Сережа! Ты не подумай! А впрочем, ты мне помог хотя бы тем, что долго не соглашался купаться. И я вдруг увидел в тебе того городского дружка...

— Значит, экспромтом?

— Экспромтом!

У меня было такое странное ощущение, будто сделано возле нас что-то очень хорошее, очень удачное, но как-то внезапно сделано, и к этому надо еще привыкнуть. И я привыкал.

Любовь у Рубцова к воде была какой-то неистребимой. Все время его тянуло или к какому-нибудь ручью, или к колодцу. Вечером, рассуждая о том о сем, мы шли куда-то без всякой цели, лишь бы рассеяться, просвежиться. Белела луна, поливая неярким светом свежескошенные луга, огороды и избы, бревенчатый мост через речку, кусты. Мы шли под ветвями черемух, меж картофельных гряд, по красневшим в траве кирпичным обломкам и были приятно удивлены, когда перед нами возникла Толшма, огромным своим коленом обегавшая холм. Белый песок, кривые, как петушиные ноги, корни надречного краснотала, дремавшие на воде чашечки желтых купав — все здесь дышало чем-то старинным и русским. Стояла такая тишь, что слышно было, как шевелилась трава, по кото-

рой, словно сквозь лес, пробирался желтый цыпленок. Мы запалили костер и стали смотреть сквозь огонь на далекие силуэты деревьев. Я сказал:

— Слышу детское пение.

— Где?! — удивился Рубцов.

Я показал в сторону страшно уродливых корневищ, черневших на том берегу реки, где слегка колыхалась листва, в которой порхала безмолвная птица. И вдруг при свете луны, за кустами, около леса возникла избушка с железной трубой, из оконца которой, будто седые старушечьи волосы,плыли пряди тумана. И я выкрикнул. Выкрикнул то, во что так мне хотелось верить:

— Это же ведьмы! Это они поют детскими голосами! Они же по-детски и плачут!

Николай тоже взглянул туда, где повиделась мне избушка, потом перевел глаза на костер, а после вверх на зыбкий небесный зенит, на котором, как клюква среди болота, алели крупные звезды.

Мы долго лежали между огнем и водой, и на душе у нас было возвышенно и светло. Затем Николай привстал, подправил костер, прикурил сигаретку и вдруг, ничего не сказав, ушел в темноту. Я слышал шорох шагов, удалявшихся по песку, видел горевшую ягодкой сигаретку, которая то поднималась, то опускалась. Вернулся Рубцов не скоро: в глазах смущенное удивление, будто нашел что-то слишком ему дорогое.

— Знаешь, — сказал он, — я завтра за рыжиками пойду! Оставайся еще на денек! Вместе и ходим!

Три дня провел я с Рубцовым в Никольском, встречаюсь с его друзьями, купаясь и загорая, бродя по скошенным поймам, погостам и косогорам. И было такое чувство, будто я прожил здесь целые годы. Уезжая на мотоцикле, долго оглядывался назад — на высокую изгородь вдоль проселка, на которой сидел Николай с поднятой кверху рукой.

Через несколько дней из Николы пришло письмецо:

«Сережа, милый!

Как доехал? Не сломался мотоцикл?

Сразу после тебя целые сутки у нас был дождь. Сразу же после дождя я побежал в лес искать рыжики. Рыжиков не нашел, но зато написал стихотворение о том, как много в лесу бывает грибов. Это стихотворение наполо-



вину навеяно случайно сказанной тобою строчкой (а может, и не случайно): «Ведьмы тоже по-детски плачут». Посылаю его тебе. По-моему, оно получилось неплохим. Ты лучше что-нибудь выкинь из тех стихов, а эти предложи своей газете.

Я очень был рад твоему приезду. Спасибо тебе, что «наш двор уединенный, пустынным снегом занесенный, твой колокольчик огласил!» (Пушкин).

Вышел 8-й номер «Октября». Там есть и мои стихи. Я уже их читал. А ты не читал? Посмотри, если найдешь как-нибудь минуту свободного времени. Сядь в кресло, закури сигару и почитывай их помаленьку, балагурия о том о сем...

Я получил письмо от одного московского товарища, поэта. Собирается приехать ко мне в Николу. Поздновато он что-то надумал: пока едет, пока то да се, — я буду готовиться покинуть эту святую обитель природы. Да как знать! Может, потом вместе заглянем к тебе.

А рыжики еще будут!

Ваня Серков уехал. Почти всю ночь просидели у прощального костра. Жаль, что и он уехал.

Ну будь здоров! До свиданья, Сережа. Пиши. Буду ждать.

Сердечный привет Елесину.

*Н. Рубцов».*

Я собирался было дать Николаю ответ, что стихотворение его вместе с другими вот-вот должно появиться в местной газете, как получаю еще одно письмецо:

«Сережа!

Черт возьми! Еще раз приходится тебя беспокоить. Пустяк, но все-таки.

Только что отправил тебе письмо и вспомнил, что в посланном стихотворении одна строфа отпечатана не так. Вернее, одна строчка.

В том письме она, эта строфа, такая:

Знаешь, ведьмы в такой глуши  
Плачут жалобно?  
И чаруют они, кружа,  
Детским пением,  
Чтоб такой красотой в тиши

Все дышало бы,  
Будто видишь ты сновидение?

Надо так:

Знаешь, ведьмы в такой глуши  
Плачут жалобно?  
И чаруют они, кружа,  
Детским пением,  
Чтоб такой красотой в тиши  
Все дышало бы,  
Будто видит твоя душа сновидение?

Извини за беспокойство.  
Еще раз привет!

*Н. Рубцов».*

Был Николай Рубцов в те дни не таким известным поэтом. Но стихи его были неповторимы и обещали громкую славу. Во всяком случае, так мне казалось. И потому, когда в районном маленьком городе Тотьме появилась газета с подборкой его стихов, я немедленно послал ее в Ни́колу, заодно сообщив, чтобы слушал Рубцов местное радио, по которому будут читаться его стихи.

И вскоре на это ответ:

«Здравствуй, Сережа!

Видел лит. страницу в «Ленинском знамени» — твой рассказ и свои стихи. Твой рассказ мне понравился. За свои стихи благодарен тебе и редакции.

Снимки тоже получил. И тоже большое спасибо. Но тут у меня к тебе вот какое дело: не смог бы ты отпечатать еще и послать снимки, где сидят на колодце Ленёк Богданов, Лев Николаевич и я с ними? Это ты зафотографировал у нас во дворе. Этот снимок нужен, конечно, не мне, а Льву Ник. и Ленёке, так что послать его можно и неспешно, хоть когда, когда меня и в Николе не будет.

В Николе я решил прожить вплоть до сентября, т. к. в лесу поспело много брусники. Да и рыжики, должно быть, скоро пойдут.

По-прежнему пишу иногда стихи. Написал после тебя еще восемь стихотворений. Несколько из них посылаю тебе, просто так, почитать.

Ну будь здоров, Сережа!

Да, я так и не сумел послушать твое выступление по радио. Получил твое письмо уже после выступления и по-

этому ничего не знал о нем. А сплю я обычно часов до девяти, так что случайно услышать тебя в эфире тоже не смог: ты ведь говорил по радио часов в семь?

Всего тебе наилучшего!

Салют городу Тотье, реке Сухоне, всем ее островам и заливам.

Крепко жму руку.

С приветом *Н. Рубцов*».

Письмо манило меня в Николу, хотелось встретиться с другом, поэтом и человеком. Но уехать мне было нельзя, и я уходил на реку, глядел на желтые от берез берега, на кричащие стаи грачей, на мальчика с удочкой в лодке и негромко нашептывал про себя:

У сгнившей  
                                лесной избушки  
Меж белых стволов бродя,  
Люблю собирать волнушки  
На склоне осеннего дня...  
Летят журавли высоко  
Под куполом светлых небес,  
И лодка, шурша осокой,  
Плывет по каналу в лес.  
И холодно так, и чисто,  
И светлый канал волнист,  
И с дерева с легким свистом  
Слетает холодный лист...  
И словно

                                душа простая  
Проносится в мире чудес,  
Как птиц торопливых стая  
Под куполом светлых небес!

...На пароходе по Сухоне уплывал Николай Рубцов в город Вологду, чтобы оттуда поехать в Москву, в свой литинститут, где он учился очно. Я почему-то уверен был, что увидеться с ним не смогу до нового лета, как вдруг в один из дождливых дней прогудел пароход и по сходням в толпе пассажиров на тотемский берег сошел Николай.

Мой первый вопрос:

- А как институт?
- Перешел на заочно.
- В Тотье останешься?
- Нет. Поеду в Николу.

Денег не было у Рубцова, и он был вынужден (как не хотел!) взять в районной газете командировку. Перед тем как уехать, зашел на часок ко мне. Мы сидели в доме моих родителей на высоких старинных стульях. И вдруг Николай запел:

Потонула во тьме отдаленная пристань.  
По канаве помчался — Эх — осенний поток!  
По дороге неслись сумасшедшие листья,  
И всю ночь раздавался пароходный гудок...

Я слушал его резковатый красивый голос и мысленно видел перед собой холодный сухонский плес и уплывающий пароход, на котором ехал Рубцов куда-то далеко-далеко. Едва Николай кончил петь, как раздался гудок. Мы поспешили на пристань.

Долго глядел я вслед уходящему пароходу и ощущал, как где-то во мне звенела эта прощальная песня, наполняя душу какой-то тоскливой торжественной тишиной.

Но вот еще одна весточка из Николы:

«Дорогой Сережа!  
Добрый день!

Я уже три дня в Николе. Один день был на Устье да в дороге. Пришлось топать пешком. Не знаю, как бы я тащился по такой грязи столько километров... с чемоданом! Хорошо, что ты любезно оставил его у себя.

Что новенького в твоей жизни? В личной и общественной?

Вчера я отправил Каленистову (редактору тотемской газеты. — С. Б.) заметки о той учительнице и стихотворение. Стихотворение было писать тяжелей, ей-богу! Ты сам знаешь, почему это. Можно было бы подумать еще и над прозой, и над стихами, если б я точно знал, что еще будут ходить пароходы. Ведь если они на днях перестанут ходить, этот мой матерьяльчик мог бы сильно задержаться, и тогда я был бы виноват перед Каленистовым.

Сережа, я здесь оказался совсем в «трубе». На Устье у меня потерялись или изъялись последние гроши. Сильно неудобно поэтому перед людьми в этой избе, тем более что скоро праздник. Может быть, поскольку я уже подготовил материал, Каленистов может послать мне десятку (только мне ничего и не надо за эту командировку)? Непосредственно к нему с этим вопросом я решил

не обращаться, т. к. плохо знаю его. А вообще, надо бы обязательно хоть немного поддерживать эту мою избушку.

Праздник я проведу здесь, а потом уеду куда-нибудь. Плохо, что здесь в Николе не найдешь никакой литературной работенки, ни постоянной, ни временной, а без работы жить невозможно.

Здесь выпал, день назад, первый снег. Сегодня растаял. Картина за окном очень унылая. Грибов в лесу нет, стихи не пишутся — я как будто сел на мель. Хорошо еще, что можно поразмышлять, подумать, что же делать дальше. Хорошо еще, что в Тотьме есть ты и можно написать тебе письмишко.

Между прочим, сейчас за окном, над этой унылой дорожной грязью, над скучной осенней травой заиграло солнышко.

До свиданья, Сережа.

От всей души желаю тебе весело проводить праздник и в остальном — всего наилучшего...

С искренним приветом

30/10. 64 г.

*Н. Рубцов».*

Выпал снег, ударил мороз, и Сухона заблестела пластинами льда. Тут и там стали нарастать ледяные дороги, по одной из которых приехал из-за реки первый почтовый автомобиль, среди посылок, конвертов и бандеролей доставив в Тотьму тонкое письмецо:

«Добрый день, дорогой Сережа!

Как ты живешь? Что нового в твоей жизни? Вопрос, конечно, банальный, и сам я, когда мне задают такой вопрос, обычно теряюсь и не знаю, что сказать. Но все-таки я искренне желаю узнать что-нибудь о тебе, о твоей жизни, т. к. давненько уже не видел тебя и не слышал.

Я живу по-прежнему, среди зимней, рано темнеющей теперь скучной никольской природы. Нехотя пишу прозу, иногда стихи.

Жаль, что Гета (из Николы) без твоего ведома взяла у тебя дома мой чемодан. Она бы этого не сделала, если бы не спешила на грузовик, с кот. отправлялась из Тотьмы. Между прочим, я просил ее, чтоб она только подстрочники стихов Хазби (Дзаболова. — С. Б.) взяла

из чемодана, но она без тебя все равно ничего бы там не нашла, поэтому унесла их вместе с чемоданом.

Что буду делать дальше, я еще не знаю. Хочу все-таки до того, как поеду отсюда, что-нибудь закончить, хотя бы несколько глав повести, которую я задумал. А еще пришла в голову дурацкая мысль записать кое-какие свои соображения о поэзии в литературной форме и дать им заголовок «Письмо другу». Вот так, Сережа.

Напиши когда-нибудь несколько слов мне. Крепко жму руку.

С приветом Коля».

В письмах душа человечья чуточку приоткрыта. Другое дело, когда говоришь с глазу на глаз. В крайнем случае, по телефону. И вот я стою в телефонной будке. Слушаю голос Рубцова. Между нами семьдесят километров. Мы оба спешим. И многое досказать друг другу не успеваем. И, чтобы это восполнить, снова и снова садимся за письма.

«Добрый день, Сережа!

Вчера сразу после нашего разговора по телефону взялся за новогоднее стихотворение и написал его. По моему, получилось неплохо, потому посылаю его тебе.

Вместе с этим стихом еще несколько с другими темами. Одно из них философское — «Душа». Может быть, и эти стихи когда-нибудь после праздника Вы сможете напечатать. Они по своему настроению и мыслям тоже печатные.

Жизнь моя идет без всяких изменений, и кажется, остановилась даже, а не идет никуда. Получил письмо от брата из Ленинграда. Он зовет меня в гости, но я все-таки не могу сдвинуться с места ни в какую сторону. Выйду иногда на улицу — увижу снег, безлюдье, мороз и ко всему опять становлюсь безразличным и не знаю, что мне делать, да и не задумываюсь над этим, хотя надо бы задуматься, т. к. совсем разонравилось мне в старой этой избе, да и время от времени рассчитывать ведь надо за эту скучную жизнь в ней. Было бы куда легче, если б нашлись здесь близкие мне люди. Но их нет, хотя ко всем я отношусь хорошо. Впрочем, хорошее отношение здесь тоже понимает каждый по-своему, и все отлично от меня.

Хорошо то, что пишется. Но ужасно то, что так тяжело печатать стихи: слишком много тратится на это времени.

У меня пока все. Может быть, ты посоветуешь мне сделать что-нибудь интересное в жизни?

Поздравляю с чудесным праздником — елкой, желаю тебе весело встретить и проводить ее.

С приветом *Н. Рубцов*».

Встречаясь с Рубцовым, я всегда поражался его способности лаконично и ярко рассказывать о других. Особенно о поэтах, с кем он был дружен, кого любил, с кем делился тайным и сокровенным. Ленинградский поэт Глеб Горбовский со слов Рубцова представился мне тем физически и душевно сильным русским богатырем, который всегда кого-нибудь выручает. Горбовский не был учителем для Рубцова, но он повлиял на него, заставил поэта видеть в мире вещей философию высшего смысла, ради чего человек смеется, живет, тревожится и умирает.

Таким же колоссом сильной души рисовался со слов Рубцова и поэт Александр Яковлевич Яшин.

Об Анатолии Передрееве и о себе Рубцов однажды сказал: «Мы бы вдвоем, с передреевской логикой и моей памятью могли бы любое литературное собрание опрокинуть...»

...Минули годы. Теперь, когда с нами не стало Рубцова, вновь и вновь почему-то тянет в Николу. Тянет не только его друзей, но и тех, кто не знал при жизни Рубцова, но, читая его стихи, полюбил поэта так горячо, что хотел бы о нем узнать исключительно все.

«За что же Коля Рубцов любил Николу?» — спрашивал ленинградский поэт Глеб Горбовский, обнимая глазами село. Знакомясь с Никольским, этот вопрос задавали себе и московский поэт Евгений Евтушенко, и петрозаводский лирик Валентин Устинов, и писатели-вологжане Василий Белов, Сергей Чухин, Василий Оботуров, Виктор Коротаев и все те, кто приезжал на дни Рубцова в его родное село. И каждый почувствовал, каждый понял, что здесь у Рубцова писались стихи. Писались раскованно и свободно, как только могут они писаться на земле, у которой эпитет — «родная».

Отмечать дни поэзии Николая Рубцова как в Тотьме, так и в Никольском уже вошло в обиход. Который год приезжают сюда поэты Москвы, Ленинграда, Вологды, Петрозаводска. Председатель колхоза «Никольский» Леонид Алексеевич Телицин встречает их с тем особенным русским гостеприимством, какое бытует в северных деревнях, когда гостей привечают, как на хороших праздниках или свадьбах, и непременно знакомит с селом. А в селе те самые лица! Их любил Николай Рубцов, о многих писал, создавая портреты непритязательно-доброго Фили, старушек, которые машут платочками самолету, девочки Лены, шалуньи под старой березой, и многих, многих других.

У своих земляков учился Рубцов первым стойким шагам по земле. Учился у них крепко верить в доброе и святое. Потому-то и трудно представить Рубцова без имени тихой деревни Николы, в которой он пел и воспел свою Родину.



## Была ли ссора

До поры до времени жили, не желая встречаться друг с другом, Иван Иванович Тропин и Василий Петрович Круглов, дорогу между которыми пробежала черная кошка. Это были два пожилых, но не старых еще любителя старых песен.

Но вот массовичка сельского клуба однажды свела и того и другого вместе, чтобы проверить у них голоса накануне концерта. Дремучеволосый, маленький Тропин, кивнув на Круглова, полупрезрительно усмехнулся.

— У этого толстяка не голос, а писк мышинный.

Круглов само собой в долгу не остался:

— А у тебя, Ванечка, веревкой, видать, голосишко-то перехвачен, оттого гоготание в звуках, как у гусей.

Спор непременно бы разгорелся, но массовичка вдруг предложила:

— Пускай вас песня рассудит!

Первым решился Иван Иванович Тропин. Низенький, остроплечий, он встал на серединку сцены, откинул дремучеволосую голову так, словно готовился выпить воды, и запел «Трех танкистов». Сначала голос его звенел с легкой дрожью, но постепенно окреп, заиграл басовыми тонами и стало тесно ему в пределах клубного зала.

Высокий, дородный, с большим животом и большим подбородком Василий Петрович Круглов слушал Тропина с саркастической тонкой улыбкой, совершенно не подходившей к его наливному лицу. Но вот пришла пора и Петровичу отличиться. Лицо у него тотчас же стало бесстрастным. Запел Круглов «Мазурочков».

Плавнo и нежно плыла украинская песня, словно кто нес ее на ладонях. Плыла, пока не истаяла вся в предвечерних сумерках зала.

Пели Тропин с Кругловым попеременно, один — мирные песни, второй — боевые. Массовичка уже собиралась их было остановить, мол, достаточно, хорошо, можно теперь выступать и в концерте, как певцы смешали в одно тенор и бас и мощно, торжественно выли в зал:

Эх, ведь недаром, ведь недаром  
Москва, сдaленная пожаром,  
Французу-у отдана...

Когда закончили, то оглянулись и увидели односельчан, пришедших сюда на вечернюю песню.

— Еще! Еще! — просили певцов.

И снова сильные голоса повели за собой задушевную песню, являя сюда, в этот зал, небывалое настроение, с которым хочется жить, жить и жить.

Не зря говорят в народе: душа с душой разговаривает, когда ложится между людьми хорошая песня. Была ли ссора между Тропиным и Кругловым? Посмотреть на них в эту минуту — значит ответить: нет. Уходили певцы из клуба большими друзьями.

## Ни вдова, ни девушка

Каждый вечер, если, конечно, он теплый, без ветра и без дождя, на дощатой лавочке под окном встречает доярку Анну ее древнелица мать — скорбная, гробовая старуха, вся восковая, в бесчисленных белых морщинах, одетая в старомодную, с частыми сборами на спине суровую кофту. Увидит дочку, и впалая грудь ее всколыхнется, а на безбровые, в редких ресничках глаза наплывет светлинá. Подымет безвесое тело, приобопрется об угол избы и скажет с тихим укором:

— Ждала, как пропащую. Пошшо эдак долго?

— Так уж пришлось, — устало ответит Анна.

Анне сорок семь лет. Лицо у нее удлиненное, тонкое, с шероховатой, розовой кожей, глаза проникнуты давней печалью, словно однажды она задумалась о своем да забыла закончить думу, так недодуманность эта в глазах и осталась.

Мать у Анны когда-то была боевой, работающей, одной из немногих, кто в годы войны, когда пали колхозные кони, впрягалась в оглобли лемешного плуга и вместе с такими же, как она, пахала осеннюю зябь.

И Анна в нее удалась. Как заступила в девчонках на ферму, так до сих пор и работает на дворе. Свить семейное гнездышко не привелось. А могла бы, ибо она выходила замуж. Но муж ее был человеком приезжим, по-местному — набегным, и уговаривал Анну податься куда-нибудь в леспромхоз, где бывают и выходные, и отпуска, и полочки намного выше колхозных. Анна бы с милой душой отправилась с ним в дорогу. Но для этого надо навеки расстаться с домом. Она же этого не могла и, запирая в груди порыв к затяжному женскому плачу, сказала ему:

— Поезжай. А я при маме осяду. Ведь она староватая у меня...

Так и осталась Анна без мужа. Ни девушка, ни вдова. Выйти бы замуж опять. Да не было женихов. Всех война подрубила под корень.

Иногда, возвратясь по заре с работы, Анна садится на лавочку под окном. И сегодня она садится, обнимая мать за сухую и узкую спину. Перед глазами знакомый мир. Вон сползает с угоров далекое солнце — красное, налитое, точь-в-точь огромный сорожий глаз. От света его атласно лоснятся лужи, млеет мягкая мурава, а на разорванной флотской зюйдвестке, что вместо пугала в огороде, сияет пуговка с якорьком. Зюйдвестка эта — последнее, что осталось Анне от мужа.

Мимо, шагах в тридцати, проходит телятница Нюрка — русоволосая, полная, с веселым младенчиком на груди. Анна вздыхает: «И я бы с таким ходила...» На секунду в печальных ее глазах что-то зыбко светлеет, точно она подглядела себя в том невозможно счастливом дне, которого не было у нее, но который мог бы и быть, если бы Анна уехала из деревни. Нет, нет! Этим отъездом она бы подрезала мамин век. И не сидела сейчас бы рядом со старой, не обнимала бы узкую спину, не ощущала сквозь кофту со сборами каждое ребрышко, каждую кость ее до предела изжитого тела. Нехорошо, полагает Анна, строить счастье свое на несчастье близкого человека.

Солнце сползло под угор, и от крыши сутулой избы опустилась прохладная тень, подмяв под себя мураву на зауке, атласные лужи, лавочку под окном и взгрустнувших на лавочке женщину и старуху.

Подымается Анна:

— Пора на покой.

И мать, опираясь об угол избы, подымается вслед за дочкой.

— Пора,— отвечает сухо и шелестно, как подув лиственным ветерком,— за ночью, шшо за лесом, бог даст здоровья, ешшо и на утречко поглядим...

У проруби очередь. Кого только нет! Женщина в стянутом в талии долгополом пальто, мальчик с бидоном на санках, отставной офицер в шинели, валенках и перчатках, две румяные девушки-хохотушки и несколько очень сердитых старух. Все усердно колотят по льду коромыслами, ведрами, батогами. Но колотят напрасно, потому что ночью мороз был под сорок, и льдуросло будь здоров. А люди подходят все и подходят. Кто-то вспомнил чистильщика прорубей:

— За что ему только деньги платят?

— И вчера вон обмерзло, дак мужчина с трактора рассекал.

— А ему чего? Воды-то домой небось с вечера натаскал, дак сейчас спит, как корову продавши!

— Эй, гляди! Вон он, кажется, сам!

По тропе вдоль реки шел в залатанном полушубке и черном шарфе плечистый старик. В одной руке — длинный, как боевая секира, топор, в другой — покорябанный заступ. Перед ним расступились. Чистильщик встал на колени, недовольно пробормотал:

— Опять делать дыру на реке.

Взмахнул топором и высек пригоршню блестящих осколков. Осколки летали, и солнце, лучась, зажигало их бледным морощечным цветом. Потом показалась вода.

Ведра одно за другим забухали в прорубь. Чистильщик отер рукавом пот с лица, закурил папиросу и, взяв инструмент, пошагал по краю реки едва намеченной тропкой. Кто-то его окликнул:

— У тебя прорубей-то много?

Старик обернулся:

— За седнишне утро четыре.

— Пошел, значит, к пятой?

— К пятой да и к последней.

— Труд на пользу тогда!

— Не на пользу — на ругань, — поправил старик. —

Слышь, у пятой-то как меня костыляют?

От пятой проруби, где стоял стукоток коромысел и ведер, раздавались сварливые голоса:

— У него лень за пазухой гнездо свила!

— За что только деньги плотят?

— Спит, поди-ко, как сивый медведь...

Старик неожиданно улыбнулся, отбросил конец шарфа за плечо и сказал:

— Слышь, как чихвостят меня! Языки-ти на ругань, стойно ваших, такие же боевые!

Набиравшие воду женщина в долгополом пальто, девушки-хохотушки, отставной офицер, старухи и мальчик уставились в спину чистильщика прорубей, который шел по снежной тропе, неодолимо спокойный и величавый, в одной руке — длинный, как боевая секира, топор, в другой — покорябанный заступ.

## У родного крыльца

По крестовинам оконной рамы колотит косой мерзлый дождь. Колотит настойчиво и упрямо, будто кто-то сильно продрогший просится с улицы в дом. Осень. Октябрьская злая помóка. В поникшей черемухе за оградой, мокрою сарайчике у ручья и длинном ряду щитовых домов — во всем ощущаешь покорность перед невзгодой.

Алевтина Ивановна, вся румяная от печи, напекла картофельных пирогов и теперь, карауля время, то и дело глядит на стенные часы. И внучек ее семилетний Юрка, загнув на девятой странице букварь, тоже глядит на часы. Отбивает пять раз.

Юрка на ноги быстр. Алевтина Ивановна только успела накинуть брезентовый плащ, как внучек легким зайчонком выпрыгнул за порог.

С крыльца видна покрытая лужами глинистая дорога. Вдоль нее: продовольственный магазин, семейный барак и похожие друг на друга в четыре окна по фасаду стандартные вымокшие дома. Юрка уже завернул куда-то за почту, и слышно лишь частое чавканье спорых его шажков.

Алевтина Ивановна, вправя волосы под платок, смотрит сквозь серые плети дождя на бегущую к нижнему складу дорогу. Там сынок у нее, Николай. Сейчас он, должно быть, захлопнул дверь будки-обогревалки, где оставил бензопилу, и идет с закадычным дружкой своим трактористом Расковым вдоль эстакады к поселку.

На улице никого. Но Алевтина Ивановна терпелива. Приставив ладонь к глазам, смотрит и смотрит сквозь непогоду.

С таким же упорством встречала когда-то она и мужа. Высок и дороден был у нее Епифан, работал в кузнице и любил, чтобы каждый вечер кто-нибудь из детей караулил его у калитки. Чаше других сторожил кузнеца сухошавенький Колька. Высоко подбрасывал сына кузнец и удобно, как на седло, усаживал Кольку на шею. Так они и входили во двор.

— Я на батьке, как на коне, весь поселок проехал! — хвастался сын, слезая с отца.

А отец, у которого, кроме Кольки, трое дочек и трое сынков, поблескивал хитро глазами:

— А завтра чья очередь ехать?

— Моя! — раздавалось с шести сторон.

И носил бы кузнец на дородных плечах одного за другим всех своих ребятишек, да настал безжалостный день — 22 июня. Целуя жену и детей, Епифан неумело бодрился и заверял:

— Эта война не надолго. Месяц-другой — и вернусь...

Не вернулся кузнец с войны.

На долю вдовы солдата выпало то, отчего цепенеет душа и по белым, как глина, щекам скользит просветленная горем слеза. На судьбу Алевтина Ивановна не пеняла. Как в спасительный омут, ныряла она в работу. Лес вывозила на лошадях. Обрубала сучки. Баланы катала по эстакаде. А дома спешила обшить, накормить оравушку дочек и сыновей. И так всю войну.

— Мама, когда я вырасту мужиком, — сказал однажды средненький, Коля, — я от тебя отберу всю работу. Ты вон какая усталая. Тебе надо досыта отдохнуть...

Сказал, как смотрел сквозь годы вперед. Годы, в которые дети ее, как птицы, разлетелись по разным краям. Только один Николай никуда не уехал. С ним Алевтина Ивановна и живет.

И снова, как в прежние годы, приставя руку к глазам, смотрит и смотрит она на дорогу. Сердце ее расстроганно бьется: в серых плетях дождя она разглядела высокого мужика со смеющимся мальчиком за плечами. Отец ли с сыном идет? Сын ли с внуком? Глаза Алевтины Ивановны мягко теплеют, и почему-то скользит по щеке слеза. Хорошо, когда дети с детьми возвращаются к дому.

Юрка, завидя бабушку, машет ладошкой:

— Я на папке, как на коне, весь поселок проехал!



Косые подстрешные струи глухо шлепают по воде, скопившейся меж мостков и цоколем дома. Где-то на нижнем складе гремят цепями порожние сцепы. От дома наносит запахом пирогов. Сын хватает отца за рукав:

— Пойдем-ко, папка! Пойдем! Для нас бабушка напекла полную печку рогулек!

Алевтине Ивановне радостно и тревожно. Пропуская в дом сына и внука, слышит далекие голоса, голоса былых удивительных вечеров, когда долговязый ее Епифан, шагая с работы домой, нес на своих широких плечах всем на свете довольного сына. Улыбается старая Алевтина. Улыбается и грустит, сожалея о том, что дети с детьми не во все времена возвращаются к дому.

Колхозное дело лежит на плечах доярок, механизаторов, полеводов. Хочешь людей разглядеть поближе, выбери самое страдное время. Например, сенокос. В эту пору только младенцы, больные да ветхие старики остаются в селе. Остальные — в лугах. Порой берет удивление. Молодежи в деревне нет, а тут столько ее, что не скоро и сосчитаешь.

Корреспондент областной газеты чуть не сделал ошибку, записав в свой блокнот фамилии семейных парней, вершивших стога на Шуйской низине. Один из парней спросил:

— Вы нас кем записали-то там?

— Колхозниками колхоза «Завет», — ответил корреспондент.

— А мы не колхозники, — огорчили его ребята, — мы временно тут.

Временно на колхозных лугах обычно бывают школьники, отпускники, городские шефы и те из ребят, кто поступает в техникумы и вузы. Временные над постоянными в ряде колхозов преобладают, и стоит им только разъехаться из деревни, как сразу на первый план, заслоня колхозную молодежь, выйдут старые и пожилые. Молодые работают где? Один — на конных граблях. Второй — на отвозке силосной массы. Третий — где-нибудь на ремонте. А пожилые и старые всюду. Они сторожары из берез вырубают. Они косят разрыв-траву. Они навивают стога, латают упряжь, постройки...

Один из таких пожилых — Николай Николаевич Попов — живет в деревне Подлипной. Ему пятьдесят седьмой. Сухощав. Голубые, чуть выцветшие глаза смотрят

прямо и строго. Вот уже тридцать пять лет держит Попов в колхозе «Великодворье» славу лучшего управителя конного дела. В молодые годы, вернувшись с войны, как свyksя с седлами, сбруями, хомутами, так с той поры ни с тем, ни с другим, ни с третьим не расстаётся.

Кони рано встают, на волглой зеленой зорьке. А Попов уже возле них. Подымает его извечное беспокойство: «Как-то там работа моя. Я сплю, а она стоит». Густоросое утро считает Попов самым работным. Забрав сивогривого мощного Милигримма, впрягает его в косилку и пристяжных к нему подпрягает.

Тройка бодрых коней. Над омутной Печеньгой пойменный луг. В траве под напором ленивого ветра — зеленые вмятины и воронки. Поуркивают ножи, срезая с маху цветущую овсяницу. Час спустя выйдут на луг колхозные бабы. Обязательно крикнут:

— Куда эдак-то разбежался?

Попов промолчит и даже слегка разозлится. Не любит, чтоб лезли к нему со словом во время работы. В обед, когда солнце нависнет над верхом разломанной церкви, придет Мария, его жена. В одной руке — белобровый сынок, в другой — белобровая дочка. Усадит детей на расстеленный в тень под копешку отцовский пиджак, а хозяину крикнет:

— Ну-ко, работник, поешь! — и подаст ему полевую сумку, в которой бутылка холодного молока, огурец и ломоть ржаного хлеба.

На загорелом лице Попова — тень усталости и улыбка. Но сперва подойдет к лошадям. Уведет их к реке и там, спутав передние ноги, оставит пастись.

Много проселков, полей, сенокосных гривок изъездил Попов на телегах и лобогрейках. Возил по разбитой дороге почту, отправлялся с ночевками к старым поселкам, где косил луговую траву, загребая ее и ставя в зароды, сушил на овинах зерно, пахал на паре под озимые. Иногда казалось ему, что как выехал со своими конями полвека назад, так с тех пор на них едет и едет. Норовил приехать в хорошую жизнь. И приехал, прихватив с собой по пути оравушку дочек и сыновей, за которых жену его Машу наградили орденом «Матери-героиня».

Теперь старшие дети живут в помощь семье. Давно ли Мишка с Валеркой помогали отцу конюшить, гоняли

коней на выпас, объезжали самых упрямых и нет-нет намекали отцу:

— После школы будем работать на лошадях. Свыклись, дело пойдет.

Николай Николаевич сунул белые брови:

— Не, ребята, надо брать выше. Кони что? Свое отжили. Теперь вместо них машины. Вот с ними давай-ко-те и свыкайтесь.

Свыклись братья. Теперь возле колодца с тесаным журавлем, против которого дом Поповых, стоят, как два друга, ДТ-54 и «Беларусь». Утрами воздух распарывает частая дробь. Уезжают Поповы, один — поле пахать, второй — за флягами молока на ферму. А в кабинах рядышком с ними меньшие братья — Колька, Алешка, Аркашка. В голове у младших по две заботы: скорее бы школу закончить да самим без всякой подсказки пройти на тракторе вóзлеомежек.

— В своей семье всяк сам большой! — говорит старший Попов о своем колхозе и видит в нем самого себя далеко не на крайнем месте.

Годы длинные, уходящие в тень минувших событий, из которых и лепится сложный русский характер. Впрочем, сам Николай Николаевич обычно думает о другом. В его сердце из многих мелких забот вырастает большая: той ли дорогой он шел эти тридцать пять лет? «Пожалуй-ко, той!» — мысленно отвечает, ибо чувствует: его дороге не кончиться никогда. Расстиралась когда-то его дорога для колхозных коней. А теперь для машинной техники расстелилась. А на технике кто? Его сыновья, белобровые, молодые, которые заново повторяют всю его жизнь.

## Законное место

Подошел автобус. С крыльца домика-ожидалки словно ветром подняло толпу суетливых старух, квохчущих баб, мужиков со струйками дыма от папиросок и стайку юрких, как воробьи, пареньков. Сзади всех красивая важная дама и девочка с маминым ридикулем.

Каждый, хотя и с билетом, но почему-то стремился попасть всех первой. Лезут в тесные дверцы с сумками, сетками и узлами. Кто-то застрял и визжит:

— Ой! Грудину наджали!

Шофер, мешковатый, ленивый дядя, хотел было кому-то крикнуть, кого-то схватить за рукав, но, видя, что это не даст порядка, уселся в кабину и закурил.

Еще до конца не расселись, как послышалась брань, чьи-то две пары рук приподняли и выжили с места белобрысого, мятого мужика, который обиженно заморгал, шмыркнул носом и стал суетливо шарить в карманах. Найдя в них билет, возмущенно заверещал:

— Вот глядите! Девятое место! Вот!

— А здесь десятое! Или ослеп? — объясняют ему. — Девятое ближе. Вон, девочка там сидит.

— Девочка! А-а-а! Это из-за тебя!

Никто и опомниться не успел, как белобрысый, схватив девочку за подкрыльца, перенес ее в тесный проход, весь заваленный чемоданами и узлами. Перенес и уселся с видом зря пострадавшего человека. А девочка есхлипнула на узле, прикрывая лицо маминым ридикулем. Весь автобус обрушился с криком на мужика, а красивая дама с крашеными губами неожиданно поднялась:

— Я за милицией!

И как только она ушла, стучая жесткими каблучками, в автобусе все попритихли, приробели и даже слышались вздохи сочувствия к мужику, а девочке, тихо сидевшей уже на своем, на законном месте, сделалось стыдно.

Красивая дама вскоре вернулась. Зайдя в салон, протянула бледный с накрашенным ногтем палец в сторону мятого мужика:

— Вот его! Его заберите!

Вслед за дамой вошел молодой стремительный участковый. Сделав жест, каким поднимают с места, сказал:

— Пройдем, гражданин!

Белобрысый вздохнул, обреченно поморщил лоб и только хотел подчиниться, как услышал сначала голос девочки:

— Ой?! Не надо! Не надо!

Потом баритон шофера:

— В самом деле... К чему...

И наконец дружный хор пассажиров:

— Пусть сидит! Чего уж?! Теперь все тихо, все хорошо...

Участковый пожал удивленно плечами, поглядел на даму с недоумением и, козырнув белобрысому мужику, спустился на землю.

По стеклам от резкого ветра сухо постукивает листвою. В покоях избы тихо, тепло, пахнет солеными грузьями и брусникой. На лавочке, возле печи, белолицая с острым носом старушка. Сидит перед прялкой и навивает на веретенце бесконечно длинную нить. Такой же долгой была у старушки и жизнь — без малого сто годов.

Из сеней в открытую дверь влетает резиновый мяч. Вслед за мячом вбегает Маринка. Маринке четыре года, она в алом платье, на голове, как белая птица, широкий шелковый бант.

У девочки папа и мама в районном центре, там работают и живут. А здесь, в приветливой маленькой деревушке, две бабушки у нее — молодая Настасья и старая Александра. Молодая сейчас в огороде, выкапывает картошку, а старая вон сидит за овечьей шерстью да знай себе ниточки вьет.

— Поиграй со мной, баба Шура! — просит Маринка.

Александра Ивановна улыбается старой-престарой улыбкой, пришедшей, казалось, к ней из какого-то давнего века.

— Поиграла бы, андели, да не духу не вижу.

Девочке жалко старушку. Она обнимает ее за колени:

— А почему не видишь-то, баб?

Старая грустно вздыхает и гладит правнучку по голове.

— Третей год бела света не вижу. Глазки померли у меня.

Маленькой девочке интересно:

— Глазки померли, а сама живая?

— Сердце крепкое, значит,— объясняет старушка,— оттого и живу так долго...

Жизнь истрачена вся, однако берутся откуда-то силы и заставляют с неслабнувшим любопытством заглядывать в завтрашний день. Как-то там поживется: плохо ли, хорошо ли? А силы эти, видимо, от привычки что-нибудь постоянно делать. Без дела нельзя. Без дела она растает, как свечка. Всю жизнь на крестьянской работе. Ее широкие с бухлыми венами руки жали рожь от зари до зари, доили колхозных коров, хлеба на овинах сушили и много другое, чего можно долго перечислять. И даже сейчас, когда в жилах слабо и тихо струится древняя кровь, а глаза ничего, кроме ночи, не видят, руки эти при деле. И может быть, не единственном, может быть, не последнем.

Скрипит меж ладоней веретенце. Вертится в пальцах длинная нить.

— Баб Шур,— спрашивает Маринка,— куда тебе столько ниток?

— А тебе две пары носочков свяжем да еще перстянки на ручки.

Слышен топот легоньких ног. В кухню один за другим вбегают девочки и парнишки. Кто с морковкой, кто с яблоком, кто с игрушечным самолетом.

— Баб Шур, эво сколько гостей! — объявляет Маринка. — Ты бы нам, как тогда, сказочку насказала.

Александре Ивановне мило-дорого вспомнить, что когда-то она слыхала от покойной бабушки Анны. А слыхала она давно, еще при царе Александре.

— Наскажу,— говорит,— только чур мои сказочки не забывать. Вот как станете, стойно меня, старичками, то и расскажете их своим внукам. То-то они у вас обрадеют...

Уютно в избе. В приоткрытые створки окна, гонимый уличным ветром, врывается желтый березовый лист. Он кружится над столом, над спинкой кровати, возле печи и медленно падает бабушке на колени.

— Жили были девушка да парнек. Было это давно. Раз посылает их мать в березник ягоды собирать...

Голос древней старушки льется ласково и тепло, словно пригретый на солнцепеке. Слушают бабушку ребятишки, недоев свои яблочки и морковки. И мнится



каждому сказочный лес, в который они вошли и увидели то, чего никогда не бывает на свете.

А за окном желтый ливень осеннего листопада. Стаи пестрых синиц. Луна. До чего же луна любопытна! Обхватив голубыми руками гололобую голову, молча смотрит в окно, за которым сегодня живет стародавняя русская сказка.

Когда старые женщины вспоминают минувшую жизнь, глаза у них грустно светлеют и мягкая благодарность расходится по лицу, снимая с него печать усталости и заботы. Вот и сейчас я вижу на лавочке возле крестьянского дома двух потрепанных долгой жизнью старушек. Греют на солнышке кости, перекладывают в руках недоштопанные чулочки своих маленьких внуков и говорят о давно ушедшем, о бывшем. Толстая бабушка с затерявшимся меж массивных щек крохотным носом внимала рассказу тонкой, сидевшей с таким выражением на лице, словно вот-вот кто-то ее окликнет.

— Год и семь месяцев Митеньке было, как он помер. Такое горе взяло меня, что не знаю, где и места найти. Не по мысли-то выйдешь замуж, дак только детками и обживаешься. И был-то один сыночек. Ну как с тоской совладать? И знаю, что жалью веку не изживешь, а ничего поделать с собой не могу. Реву без утѣху. Похоронили Митеньку на погосте, головкой к церкви, ножками к деревеньке. Не помню, как и домой пришла. Не ёсся мне и не пьется. Так и стоит перед глазами родной паренек, такой веселехонькой, ласковой. Ну прямо моченьки нет. Ночь на дворе, а я вышла из дому, и ровно кто взял меня за руку и повел. Иду как слепая. Кустики сбоку темнеют, под ногами жнивье. Не заметила, как оказалась меж крестов. Стою перед Митенькиной могилой, а у самой в руках заступ. Тут-то и поняла, что откапывать буду. Обошла насыпушку. Гляжу: сбоку к ней прилегает канава. Я в нее. Пару раз ковырнула, земля-то и обвалилась. Досочки домовища

видать. Ох, ты мне?! Забилося частенько сердце. Сейчас, думаю, оторву досочку да рукой хоть дотронусь до Митиных ножек. Отрывать уж взялась, поднатужилась, как вдруг слышу:

— Это ты, Катерина?

По голосу-то узнала Ваню Раскова, сторожа нашего.

— Не надо, Катя,— усовещает меня,— грех ведь большой.

Я реву. На все-то мне глядеть тяжело и невозможно.

— Не надо реветь. Ты слезами его обольешь.

Скажи бы он что другое, я бы век не послушалась. А тут припомнилась, вижу, и в самом деле неладное я учиняю. Спасибо, что уберег от греха. Ведь в горе-то баба совсем не своей стает. Так и я потеряла головушку. Позабыла, что от смерти посторониться нельзя. Полтора годика черненькую тоску на сердце носила. Потом дочкой обзавелась. Худенькая, личико с эту вот черепичку. Уж так боялась, как бы батенька-бог ее к себе не прибрал, так боялась, что даже молиться стала. Но ничего. Обошлось. Налилась девушка у меня. Барышня барышней стала. Бывало ее спрошу:

— Анютка, ты в кого такая баская?

— В тебя, в тебя,— улыбнется.

Вот и ладно, думаю, вот и добро. Живи, Анюта, теперь за двоих: за брателка Митю да за себя...

Последний третий гудок. Грохот дощатых трапов. Пена над колесом. От пристани к пароходу прощальные взмахи рук. Девичий голос:

— Пиши! Слышь, Коля?! Не зазнавайся!

Высокий, в светлом костюме Коля краснеет, мнет пальцами борт пиджака.

— Ладно. Чего там. Знаю...

Белый, торжественный «Добролюбов» плывет по стрежню реки, оставляя старинную Тотьму среди зелени, красных крыш, белостенных церквей, лесенок с поручнями и лодок, что, скрипя цепями, мирно качаются на воде.

Многолюдно сегодня на пароходе. Две старушки, одна в старомодном плаще, вторая — в вязаной кофте, ведут разговор:

— К сыну едешь-то?

— К зятю.

— Он каков?

— А не то чтобы больно худ. Да и хвалить особо не буду.

— А мой-от служащей. В государственном учреждении служит. Каждый месяц на премию выдвигают.

— Ишь, образованной. Техникум, что ли, закончил?

— Техникум да и курсы...

На корме парохода — юноши с длинными волосами. Среди них тот самый Коля в светлом костюме, который должен не зазнаваться и регулярно писать своей девушке письма. У Коли в руках гитара. Наклонившись над ней, тронул струну и красивым голосом вывел:

Отцветет да поспеет на болоте морошка,  
Вот и кончилось лето, мой друг...

Впереди, над излучкой реки, таял мягкий июльский закат. Таяла вместе с ним и негромкая песня, слова которой тревожили душу и приглашали идти за собой в листопадную даль родимых урочищ.

По спокойной Сухоне от вежи к веже плыл белый, торжественный «Добролюбов». Вслед за ним плыл задумчивый голос, который слушали чуть взгрустнувшие пассажиры, стайка девушек на плоту и седой крупнолицый старик, зажигающий на стрежне реки сигнальные лампы.

## Подарок

В воскресенье, к обеду, на день рождения к Колиной маме собирались соседи, знакомые и родня. Каждый с подарком. Кто меховые перчатки принес, кто будильник, кто новенькую пластинку. Коля смотрел, как мама его, принимая подарки, благодарно и радостно улыбалась. «У меня денег нету,— грустно подумал мальчик,— а то бы я тоже купил чего-нибудь в магазине». Коля взглянул сквозь оконце кухни на заснеженный огород, белую изгородь, стайку деревьев и вдруг загорелся желанием сделать для мамы подарок — самый красивый, самый необычайный, какой никто никогда ей не делал.

Мальчик оделся, взял в коридоре лопату и, выбежав на дорогу, направился в сторону леса. Было холодно, солнце закуталось в облака и было похоже на сивого дедушку в полушубке.

На опушке мальчик остановился и начал раскидывать снег. Он шел с лопатой подле берез и видел под снегом смятые кустики белоуса. Целый час орудовал Коля лопатой, а потом отбросил ее и стал распахивать снег рукавицей. Пальцы его обхватили мерзлый тоненький стебелек, на котором, горя алым, белым и голубым, держался подснежный красавец. А затем и второй цветок обхватили Колины пальцы. И третий... Лишь когда нарвал их целый букет, решил возвратиться домой.

Принимая цветы, мама растерянно удивилась:

— Анютины глазки? Зимой! Да такого не может быть! Где ты их взял?

— В лесу! — объяснил предовольный сын. — Они зацвели на мороз, а потом их снегом накрыло.

Мама спросила:

- А ты видел, как накрывало?
- Видел, но не цветы, а бруснику.
- Значит, ты ягод хотел принести?
- Ягод,— признался сын,— только я их не мог отыскать. Наверно, птицы все ягоды поклевали. Зато анютиных глазок там много-премного.

## Примета и суть

Стужа не велика, а на месте не настоишься. Подгоняет мороз стайку парнишек, которые скачущей воробыной поступкой спешат из школы домой. Торопит мороз и лошадь, везущую с зимней поймы воз запашистого сена. А бородатого возчика, сидящего на возу, понуждает прыгнуть на бровку дороги, похлопать ватными рукавицами по животу и, покачивая вожжами, весело крикнуть:

— Что Ивану дается — бежит да греется!

Окрайкой снежного поля увитый холодным туманом тащится трактор. Везет на санях назем.

Возчик машет в сторону трактора рукавицей, задирает бороду, и из нее, как из гнезда, катится мягонький голос:

— Умножил бог лето мухами, зиму морозами!

Тракторист высунул голову из кабины.

— Ну дак и что? — спрашивает, остановив на минуту трактор.

Возчик показывает на лошадь:

— А вишь, сколь инею-то на гриве!

Тракторист усунулся в глубь кабины, и голос оттуда звучит, как из подвала:

— А что мне в инее-то твоём?

Возчик с большим удовольствием объясняет:

— Дак ведь он сулит урожай овсу.

— Какой?

— Да хороший.

— Хо! Хо! — смеется механизатор и кивает на сани с наземом: — Урожай-то овсу сулит эво кто!

Возчик немного смущен. Но ненадолго.



— Пожалуй, ты прав! — кричит. — Это уже не примета, а суть.

— Какая?

— Земля, что блюдо, сколь положишь, столь и возьмешь.

— Во! Во! Большущее блюдо! — сияет механизатор и дергает за рычаг, направляя трактор окрайкой снежного поля.

## Старая песня

Луг окружен с одной стороны полноводной рекой, с другой — пряслами огородов, с третьей — стайкой зеленых берез. Перебирает ветер в деревьях мелкую, как монетки, листву, ворошит низкорослую полевицу, среди которой горят фиолетовым, белым и желтым маленькие фиалки. Слышится песня — легкая, словно весенний воздух, и поют ее ангелы в розовых платьях.

Да какие же это ангелы? Это девчонки из нашей деревни! Просто у них голоса необычно нежные и молодые. И слушал бы их ненасытно и долго, как щебетание ласточки на рассвете.

Девочки ходят кружком. На головках у них венки, свитые из зеленых березовых веток. В ветках сияют цветы — анютины глазки. Ходят девочки подле березок, и от них по лужку разносится песня:

Не дождик березку обмывает  
Здесь, в роще девок прибывает.  
Скачите, пляшите, красны девки,  
А вы, холостые, поглядите,  
С гулянья вам девушек не взяли!

Такие юные девочки и такая старая песня?! Кто же этому их научил? Да кто, как не древняя Александра, которой на прошлой неделе исполнилось девяносто пять лет. На своих именинах старушка и вспомнила эту песню. Спела, и девочки подхватили, запомнив песню от слова до слова. Поглянулась-понравилась она им, и стали они с ней бегать на ближний лужок.

Солнце светит так ярко, что все вокруг млеет и блещет. Летят над рекой дрозды и касатки. И золотистая с розовым клювом иволга пролетает. Не на голос ли песни они летят? Не на зеленые ли венки, в которых приветно и нежно горят анютины глазки?

В сорок лет человек ко многому привыкает — и возмущается он уже реже, и удивляется не всему, но однажды он все-таки может сорваться и даже открыть от волнения рот. Именно так и случилось с Богданом Петровичем в это утро, когда он шел к себе на работу в своей сторублевой беличьей шапке, за которой охотился целый год — и вот купил ее наконец через чьи-то четвертые руки, используя связи жены и друзей. Шел по каменному мосту в отличнейшем настроении, пока не услышал мягкий хлопок, с каким студеной ноябрьский ветер сорвал с его головы дорожную шапку, швырнув ее за перила моста.

Рот у Богдана Петровича pokrивился. Шапка катилась по тонкому льду, пока не застряла в сиреневой замети снега. Богдан Петрович спустился с моста и суетливым шажком солидного человека, который давно научился бегать, протрусил до тощего ивняка. Отсюда до шапки его, полыхавшей в снегу, как спелые уголья самовара, было шагов пятьдесят. Лед на реке был прозрачный и серый, намерзший какой-нибудь день назад, и идти по нему было страшно. «Собачка та бы прошла,— подумал Богдан Петрович,— а человек, особенно я, при весе семьдесят семь килограммов...»

Богдан Петрович стоял на ветру. Крупный, пористый нос его голубел, а черные прядки волос, открывая желтую плешку, ложились то на висок, то на лоб. Фигура его, выражая растерянность и досаду, привлекала к себе горожан, спешивших по берегу — кто в магазин, кто в столовую, кто на работу. И вот, изменив на минуту свой путь, уже подходили к нему школьник

в буденовке со звездой, молодой инвалид, бабушка в ветхонькой шубе, какой-то худенький старичок, перед которым на поводке бежала большая овчарка.

Богдану Петровичу стало неловко, что оказался он центром внимания. Он как-то к этому не привык. Вся его жизнь прошла незаметно среди телефонных звонков, деловых разговоров, нешумных собраний и скучных семейных забот. И вот стоял он среди незнакомцев, и каждый готов был ему пособить.

Хозяин овчарки вдруг грозным голосом приказал: «Взять ее, взять!» и, отпустив поводок, протянул к реке беленький палец. Собака и рада бы взять, да почуяла: это опасно и, заскулив, попятилась от реки. «Тяжела», — подумал Богдан Петрович и вздрогнул, заметив, как школьник в буденовке лихо спустился на лед, сделал шаг, сделал два. «Может, и ничего, — затаился Богдан Петрович, — ножки легкие у него». Но после третьего шага послышался хриплый, как щиплют лучину, треск, и Богдан Петрович перепугался, как если бы вдруг увидел в мальчике сына:

— Вернись!

Мальчик нехотя возвратился, а молодой инвалид, переглянувшись с бабушкой в шубе, кивнул на реку и сказал:

— Теперь надо ждать, пока добела не застынет, а после вырубить топором.

— Да, да, — согласилась старушка, — только надо заметить местечко, а то потом как да еще не найдешь.

Богдан Петрович махнул рукой, понимая, что шапку ему уже не носить.

— В сотню мне обошлась, — сокрушенно сказал. — Эх! Ничего не попишешь... Пропала...

— Ничего не пропала! — сунулся сзади небритый мужчина.

Богдан Петрович обмерил глазами его сухожильную шею, фуфайку, надетую прямо на голое тело, брюки трико и тапочки на босу ногу. «С похмелья», — решил и язвительно улыбнулся:

— Не достать ли хотите?

— Могу попробовать, только, — мужчина шелкнул пальцем по горлу, и Богдану Петровичу стало ясно, что это алкаш, которому хочется, видимо, выпить.

— Если достанете — дам на поллитру.

— Можно и на две,— буркнул небритый и побежал, шлепая тапками, на угор к ближайшему дому через дорогу. Возвратился он через пару минут с длинным бамбуковым батогом.

«Спиннинг!» — понял Богдан Петрович и стал смотреть, как мужчина, скрипя железной катушкой, закидывал белую блесну, которая падала то перед шапкой, то где-то левее ее, то правее и наконец впилась коготками в желтеющий мех.

— Забирай! — ухмыльнулся мужчина, протащив дорогую шапку по тонкому льду.

Богдан Петрович надел на голову шапку и, улыбнувшись, полез в кошелек, оттуда вынул десятку.

Небритый попятился:

— Чего? Вы чего?

Богдану Петровичу стало обидно:

— Ну возьмите же! Я обещал!

— Ни за что! — отрубил мужчина. — Неуж друг дружку будем щипать?! — И подняв с земли бамбуковый спиннинг, направился с ним на угор, на котором стоял деревянный, обшитый серыми досками дом.

— Вы в этом доме живете? — крикнул Богдан Петрович.

Обернулся небритый:

— В этом.

— Вечерком загляну. Не прогоните?

— Что вы?!

Богдан Петрович повеселел. Он шел к себе на работу. Шел, ощущая, как сердце его обносило чем-то очень приятным. Наверное, это был зов к душе незнакомаго человека. Не к той ли самой душе, которой так всегда ему не хватало?

# Голоса земли

## Посреди дороги

По желтой от облетающих листьев дороге две молодые крестьянки в мужских пиджаках везут на конной двуколке огромный мешок. Навстречу им лысый старик с мягкой льняной бороденкой.

— Отколя? — спрашивает, прищуря пронзительно-зоркие светленькие глаза.

Молодки весело отвечают:

— Со складу!

— Муку, что ли, везете?

— Ее, кудреватый!

Старик сгоняет с голого черепа усевшуюся стрекозку.

— Чего? Пирогов напекете?

— Не напекем — наведем!

Старику непонятно:

— На чем?

— На воде! — с удовольствием объясняют крестьянки.

— Неужто кто будет ись эдаку мешанину?

— А наши подружки!

— И много подружек у вас?

— Да сотня-то наберется.

— И хороши из себя?

— Все, как одна, на копытцах!

Старик маленько смущен, так как дошло до него, что речь идет о телятах. Бороденка его сердито затрепетала, а рука, державшая батожок, стукнула им по высокой сурепке, сломив у растения шапку стручков.

— Сто вам бычков, сто меринков, на речку бы шли да помыкивали, с речки бы шли — побрыкивали.

Рассмеялись телятницы на загадку, благо увидели в старике забавника-шутника, с которым, наверно, не заскучаешь.

— Пойдем с нами, дедко, теляток пасти! — предложили ему.

Но дедко в ответ:

— Будьте здоровы, мои белобровы, вам теляток пасти, мне у сына гостить.

Колхозницы вновь рассмеялись:

— Какой смехотной! Откудова эдакой взялся?

— Я дальний, отселя не видно, а пробираюсь к меньшому сыну.

— А звать, интересно, как?

— Скороходовым Миколаем. А вас?

Назвали себя и молодки, заодно сообщив старику, что им еще нет тридцати, но они уже обросли дочками и сынками, что мужья у них работающие, выпивают не чаще других и что жизнь сложилась у них как надо.

Познакомились — разошлись. Старичок, направляясь куда-то к дальней деревне, а телятницы — к склону реки, на котором стояла колхозная ферма.

Было росное утро. Визжали колеса двуколки. Буль-кал ласковый смех. Я слушал смеющихся женщин и думал: вот ведь встретились незнакомые люди, перемолвились меж собой, и у всех стало празднично на душе. Хорошо бы такое случалось со всеми! Да каждый бы день!

## Мужское дело

Ленька с утра до вечера гонялся за привередливым стадом. Уставал не столько от беготни, сколько от оговорок доярок. Каждый-то день да все об одном:

— Пошто тебе, Леонидко, только зарплату плотят? Ты погляди, какие они жоркие, ровно на пастбище не бывали. Ничё, Леонидко, ты за коровами не следишь. Ничё, парень. У тебя, поди-ко, они до травки не дотыкаются.

От таких попреков Леньку то в холод, то в жар кидало. Попробуй заставь их до травки дотронуться, если такая жара и такие свирепые мухи!

Ленька с доярками в спор не вступал. Все равно правда будет на их стороне. В предчувствии нового оговора носился он по усохшим угодьям, в день раз по десять выгоняя коров из прелого чернолесья. В конце концов бестолковая беготня ему надоела. Выбрав удобный час, когда бригадир Лопарев, взрывной, как порох, мужик был более-менее в настроении, заикнулся насчет учебы на курсах.

— Ишь, мистер-твистер,— отпарировал бригадир,— поворот захотел в жизни сделать? Только сдается мне: все это зря. Не выйдет из тя тракториста. Характеру нет. А без характеру что человеку дано? Ничего, да и только.

— Чего мне,— поморщился Ленька,— всю жизнь за коровами бегать? Я тоже лучшей доли хочу.

Лопарев махнул на Леньку рукой:

— Лучшей доли хочу? Возьми ее! Кто не велит? В том-то и дело, что не по силам. Не такие, как ты, пробовали, да обжигались. Ты кто по натуре? Мякиш. Лепи чего хошь из тебя, ты и не пикнешь.



Чувствовал Ленька в грубых словах бригадира обидную о себе правду. Во всем он безропотный, во всем безответный. А ведь кой для кого такие, пожалуй, и неприятны.

Однажды Ленька решил подбить клин к двоюродному братану, который часто ездил на тракторе в Вальгу, откуда возил то семена, то удобрения, то запчасти. Раскошелился Ленька на четвертинку и после работы явился к Павлу.

— Сделаю из ты тракториста,— пообещал двоюродник,— завтра же. Если, конечно, трактора не побоишься.

Ленька заверил:

— Не побоюсь!

И вот прохладное, волглое утро. Бледно-лиловый рассвет. Прицепив тележку, братья уселись в кабину. Всю дорогу Ленька косился на длинные руки Павла, вздыхал. Братан не вытерпел:

— Чево тебе?

— Дай попоехать.

— Я обещал?

— Вечер только об этом и говорили.

— Ладно. Обратно поедem — дам.

На обратном пути поменялись местами. Выжав рычаг фрикциона, Ленька усердно поддал газку, и трактор, смяв возледорожный ивняк, забурился в канаву.

— Отсохли бы у ты руки! — ругнулся Павел, сдавая машину назад.

Вскоре их захватил плотный дождь. Павел выпрыгнул в грязь, натянул на тележку брезент и, промокший, забрался в кабину.

— По кой лешой поехал со мной, если не помогаешь,— хмуро сказал, окинув Леньку зеленоватыми крапчатыми глазами.

Дождь лил и лил, за какие-то полчаса затопив все выемки и канавы. Лопались в лужах стеклянные пузыри. В канавах бурлила пена.

Потемнело, когда они повернули к реке. Проехали грязно-желтый поток Овечьего лога, миновали кладбище, прогрохотали по плахам моста и медленно поползли на угор. Дождь словно с ума сошел, так расстарался, что в шуме его потерялся лязг траков.

— А ведь не выбраться нам,— буркнул Павел, утопляя ногой акселератор. Мотор ревел из последних сил.

Тусклая лампочка освещала голову тракториста в детской, с матерчатым пестиком, кепке. Он весь подался вперед, касаясь коротеньким козырьком лобового стекла.

До бровки берега оставалось всего на рывок, когда трактор дал пробуксовку. Ленька не знал, что это значит, но, посмотрев на вспотевшего брата, понял: пахнет бедой. Они обернулись одновременно. Внизу, под отвесным обрывом, поднявшимся выше пойменных елок, слепо темнела река. Тележка зависла одним колесом. Вероятно, в момент пробуксовки ее юзом стащило с дороги.

— Каюк нам! — в панике выкрикнул тракторист, отворяя дверцу. Ленька тоже открыл. Гусеницы проверялись на месте, обстреливая кабину ошметками глины. Павел бешено газовал. Только сильная работа мотора могла удерживать их на склоне.

Ленька никогда еще так не боялся. И удобная, ласковая мечта: «Сейчас бы домой, на теплые бы полати» была теперь невозможна и, может, поэтому так желанна. Чернела поставленная на дыбы дорога, чернел боковой кустарник, чернело угрюмое низкое небо. Ленька подрагивал подбородком и жадно-жадно шептал: «Только бы разрешили, только бы...» Трактор вдруг осадило. Ленька — вдоль сиденья — к распахнутой дверце. «Прыгать же надо! Чего?» Вздуродраженные нервы требуют разрешения на прыжок из страшной кабины. Павел имает его скачущий взгляд.

— Тащи камень! Да под колеса! Скорей! А то некому будет делать из тя тракториста!

Леньке показалось, что трактор потянуло назад. Он вскочил, стукнулся затылком о что-то железное и, оставляя на запоре добрую треть штанов, вылетел на дорогу, как легкий резиновый мяч. И еще не коснулся пятками глины, как почувствовал облегчение и в ту же секунду вообразил, что ощущать опасность, пожалуй, даже полезно.

Ломая ногти, Ленька выкатил из земли четыре холодных камня, подобрал, как капусту на огороде, прижал к животу и хотел было их поднести, как с трактором что-то случилось. Заходясь в реве, он так круто вывернул вбок, что на тележке треснули бортовые доски.

Ленька выронил камни. Острым цыплячьим клювиком затукало сердце. «Неуж не выскочит? Неуж?! Да

наплевать и на удобренье-то! И на трактор-то наплевать!»

— Чего там ползаешь, как вошь по опушке?!

На радостях Ленька расщеперил руки и ноги. Вошь так вошь, он согласен и с этим. Лишь бы...

— Мать-топорики! Спишь там, что ли?! — блажил из кабины сквернословящий бас.

Торопится Ленька. Собирает мокрые камни, тащит их и, кладя под колеса тележки, думает недоумело о брате: «Что за отчаянный?! Все нипочем! Ровно не под человека излажен?!»

Тележку Павел вытащил на другое утро, когда дорога обсохла и заправленный свежей соляжкой трактор готов был к работе более тяжелой. Ленька не позабыл напомнить об обещании.

— Когда ты сделаешь из меня тракториста? — улыбнулся улыбкой подлизы. — Я бы смог и после работы, а ты?

По широкому с белой щетинкой лицу тракториста прошла усмешка:

— А я, мать-топорики, и бригадиру скажу, и механику, чтоб ты близко к трактору не подпускали, потому как это мужское дело.

— Ну и что! — изумился Ленька.

Павел взглянул на брата с сочувствием и досадой:

— А то, что ты для мужского дела еще не поспел. Копи нервы да силу. Через годик поговорим...

И хлопнул Леньку по жиденькому плечу. Крепко хлопнул.

А Ленька не покачнулся, глаза сузил, кулаки сомкнул.

И смолчал... Пока...

Спокоен и важен январский лес. Пахнет снегом и дальним дымом. Низенький, тощенький дед Николай возвращается к дому. Там, вдоль просеки, в низких прогальцах он расставил на зайцев петли. Целых двенадцать. «Будет пожива!— думает он.— Хоть один да косою попадется. И то слава богу. Больше-то нам ни к чему...»

Вечер. Скрипит под ногами снег. Где-то сквозь мутный проем в облаках проблеснула и смирно встала, как привязанная, луна. Показалось село.

Дома дед не находит места. До утра бы скорей дожить! Спал с красивыми снами. Снились зайцы. В каждой петле по штуке. «Дай бог, чтобы сон-от в руку»,— подумал, вставая на поздней заре. А потом поразмыслил: «Куда складывать? В вещевик? А как да их будет много?! Изомнутся там, а то и не влезут...» Обыскал глазами лавку, поллицы, голбец, приступки печи. Ничего не нашел, но вспомнил, что есть на сарае плетеный пестерь. В него поместятся все двенадцать. «Унесу ли я их? А? Надсадно ведь будет? Три версты туды да три и обратно... Э-э, да чего я горюю!»

Он увидел кровать с пестрядинным красным одеялом. «Вот и сам гражданин-помощник».

— Михайло!— потянул на себя одеяло, под которым, свернувшись большим калачом, почивал его младший внучек.— А ну-ко вставай! Пойдем за лесным мяском! Все лучше, чем собак-то гонять. А, Мишутка?!

Мишутке тринадцать лет, он долговяз, с круглыми серенькими глазами.

— Больно надо,— бормочет сонным баском.— У меня каникулы. Я довжён отдыхать.

Дед кипятится. Топает ножкой. По острому, как топорик, лицу алым наметом стелется гнев:

— Вставай, покуда язык не пришил ниже пяток!

Встал Мишутка, вздыхая и охая. Надел старый ватник с большим накладным карманом.

— Не забудь взять пестерь!

Мишутка вздрогнул и рот распахнул, как перед доктором со щипцами:

— Ты чего, дедко?! Увидят ведь! Засмеют...

— Давай! — прикрикнул старик и рукой бросил в сторону внука, вмещая в этот вспылчивый жест власть человека, с которым лучше сейчас не спорить. — Никакая краля тебя не увидит. Огородцем пройдем...

Мишутка выше деда на целую голову. Идет впереди с пестериным жалобным скрипом. Дед за ним, впопыхах да вприпрыжку, рассеивает мелко шажки.

За навьюженным полем — ельник. К нему тропится след, уходящий по просеке меж деревьев. Это дед вчера проходил. Тишина. Сыпучие белые ветви.

Вот и первая затесь. Под ней, как застряв в частоколе берез, еще теплый, споткнувшийся в беге заяц. Дед немедленно на коленки. От азарта дрожат рукавицы.

— Ну-ко, Мишутка, клади в пестерек! — говорит, вынимая из петли зайца. — Что бог послал, то и мягонько! Самое главное в охотничьем деле — добрый почин. А, Мишутка? — Слова старого Николая бегут весело, суматошно, как играя между собой. — А как да с каждой петельки по такому предмету?! А? Что ты скажешь...

Мишутка больше привык видеть деда в расстроенных чувствах, чем в озорных, потому удивленно басит:

— Куда с зайцами-то деваться?

— Давай! — машет дед сердито рукой. — Я каюсь, что мало петель расставил, а он — деваться куда...

— А если, дедо, и в самом деле, мы двенадцать зайцев сымаем? Дак чего, роздадим их?

Дед встал, сердито порхая валенком снег. Взгляд прищуренный, зоркий, какой бывает у мужика, когда у него отнимают богатство.

— Ишь, дава́лец какой! Сами съедим! Зима долгая.

Лицо у Мишутки узкое, в улыбчивых ямках:

— Дед, у тебя глаза не сыты.

— А сытых глаз не бывает, — ворчит недовольно старик, — вот так-то. Запомни это и другим передай...

Мишутка шагает быстро. Пестерь желтеет между стволами. Дед запыхался, вспотел, перестал успевать за внуком. «Эх,— сокрушенно мечтает.— К моему бы телу да молоденьки ноги. Ни один бы косой не ушел от меня...»

Под второй затеской — вторая петля. В ней опять бе-лобокий заяц. Наклоняется дед:

— На, Мишутка, клади!

Так идут они друг за другом, от затески к затеске. Дед устал наклоняться. Но в душе доволен и счастлив. С его дряблых сухоньких щек свисает улыбка:

— Ах, Мишутка, какие предметы! Один одного здоровей. На-ко ложь поживей...

На последней, двенадцатой петле снова белый пушистый заяц.

— Мне бы петелек двадцать, а то и тридцать расставить,— замечает дед Николай.— Ну да ладно. На первый раз и двенадцати хватит. А, Мишутка? Двенадцать зайцёй! Каково!

Круглые, серенькие глаза Мишутки застилают проказливый блеск.

— По мне довольно и одново.

Снисходителен дед, приветлив:

— Одново?! Ишь какой! Богачом-то али не желаешь? Чего смеешься? Хорош урожай! Погоди, мы за ними еще ходим. Все наши будут! Что, небось грузновато? Тянет плечики-ти? А? Ну-ко, ну-ко, сыми. Дай взглянуть хоть глазком. Каковы они, наши предметы?!

Снял Мишутка пестерь, поставил к ногам возбужденного деда. Тот откинул круглую крышку. Что такое? На берестяном дне — как старик туда ни глядел — лишь один-разъединственный заяц.

— Караул! Михайло?! Али растерял?

— Не,— ответил баском Михайло,— сколько было, столько и есть.

Дед стал бледным, трясущимся и опасным. Никогда еще так не смеялись над ним.

— Вона что!— завизжал.— Одного и тово же зайца подсовывал в петли! Да я чесу тебе задам!

Дед скакнул на коротеньких ножках, рукавицей потряс. Но Мишутка вовремя подсказал:

— До трех раз прощают. А я одінова провинился... Да еще даве ты говорил...

— Чего даве я говорил?

— А что ломоть велик бывает только в чужих руках, а нам достанется, дак и мал покажется...

Что еще оставалось деду? Лишь вобрать в себя вдох досады да пойти потихоньку за внуком, на спине у которого с тонким жалобным скрипом подплясывал желтый пестерь.

## Паренек и мельник

Чему только на свете не завидовал маленький Яша! Подойдет к мужикам, которые ладят конские сани.

— Чего, Яша?— крикнут ему.— Поплотничать, поди, хошь?

В глазах у Яши — настороженность:

— Топора-то али дадите?

— Как же эдакому мужику, да не дать. На вот, бери!

Большой мужицкий топор блестит на солнышке, будто рыба. Разик Яша теснет по бревну, да разик и мимо. Остановят его:

— Хватит, буде, и поработал.

— Как бы не так!— обидится Яша.

— Дак устал ведь, поди?

Яша только ручкой махнет и добавит с достоинством:

— Я тяжёла-та не боюсь!

Снова тюк да потюк. Мужики уже силой отымут топор. Рассердится Яша. Пойдет от них прочь. Пойдет тихо, покачливо, будто плот под его ногами.

— Куда пошел-то? — окликнут его.

Яша нехотя обернется:

— На мельницу, вот куда.

— Вона... А мы-то думаем, отчего это ты идешь, как по пшенишному зернышку. Значит, мельничать будешь?

Яша расстроено:

— Где-то надо работать.

Не скоро Яша придет на мельницу. Ермаково, деревня длинная, избы тянутся на версту. Яше все интересно: и то как дедушка Николай, вооружившись затянутой в тряпку фунтовой гирькой, спускает ее на веревке в глу-



бокую пасть кирпичной трубы, и то как здоровые белые девки холсты с травы убирают, и то как веселый копщик Никифор ищет заступом жилу воды. К одному подойдет, ко второму. Да еще заявит при этом:

— Дай попробую я!

На мельнице все же всего интересней. Запруда, сла-ни, рубленый дом, в дверях которого — и широк, и вы-сок — сам дядя Ваня. Взглянет мельник на мальчика из-под белых бровей:

— В чем дело, пострел?

И Яша ответит:

— Помельничать дай!

— Сумлеваюсь, сумеешь ли...

— А чего? Я вон даве и бревна отесывал!

— Ну, ежели бревна...

Две ладони улягутся на задвижку: огромная, тол-стая — дяди Вани, и безвесая, тонкая — Яши. Движе-ние рук — и кипящие струи запруды глухо обрушатся вниз, заставляя лопасти колеса догонять друг дружку по кругу.

Грохот, пена, запах моченых плах. Сердце в груди у Яши, будто радостный воробей, запрыгает, залетает. В этот миг ему хочется стать большим-пребольшим. Чтоб не он завидовал людям, а люди — ему.

Прорезанный жалом ветров зимний вечер. Яков Пав-лович в валенках, ватнике и просторной бараньей шапке не спеша направляется к дому. Еще утром к нему забе-гал шофер Иннокентий. Просил:

— Выручи, Палыч. Избу когда возвели, а влѣзины все не устроил.

— Новосельице, значит?

— Оно самое, Палыч. Ты уж мне помоги пива-то по-ставить. Вся деревня в гости придет. А в деревне семьде-сят изб.

Яков Павлович был из тех добродушных крестьян, от которых не принято слышать отказа. Целый вечер ору-дует вместе с шофером. То огонь подправит под чаном, то взмешает захрясшее сусло. И вот к дому теперь идет. На душе уверенно и задорно, как у всякого мужика, хо-рошо пособившего другу. Едва порог заступил, как жена с новой вестью:

— Приходили к тебе из Завражья. Колодец рыть просят.

Яков Павлович улыбнулся, тихо так и задумчиво, будто что-то заветное вспоминая.

— Колодец... Ладно... Это мы можем...

Да и что не мог Яков Павлович! Жизнь его всему научила. От тех давних мальчишеских лет пролегла дорога едва не в полвека. Привык, как привыкают к улице, на которой живут, чтоб к нему обращалась за помощью вся деревня.

Весной его попросили зайти в контору. Пришел.

— А что, Павлыч,— сказал ему председатель,— если мы поручим тебе поднять водяную мельницу? Теперь дробильную установку обслуживает пять человек. А тут бы мог управиться и один. Берешься?

Сколько раз вспоминал Яков Павлович избынную веселую мельницу, на которой еще парнишкой запускал он в работу воду. И всегда досадно было от мысли, что мельницы больше нет. «Значит, будет!» — подумал он, переключившая в уме председательские слова, и мечтательно улыбнулся:

— Мельницу... А чего... Попробовать можно...

Над пологим берегом Андонги раздавался стук топоров. Целое лето бригада строителей излажала ряжи, плотину и большое сосновое колесо. Яков Павлович совмещал в себе и прораба, и плотника, и того покойного дядю Ваню, который дал ему здесь, на стáве, урок мукомольного ремесла.

Поднялась над берегом Андонги мельница. Потянулись к ней машины с зерном. Заворочались с толстым стоном, точно жалуясь на надсаду, грузнотелые жернова.

Не легка у колхозного мельника служба. И с мешками возись. И за стáвом следи. И ремонт устраивай в срочное время. Находились жалельщики:

— Тяжело небось, Павлыч?

— Да, конечно. Куда тяжелей, чем на печке лежать!— отвечал Яков Павлович, отбивая охотку жалеть себя и себе подобных.

Весной в ледоход заломало каркасы. Того и гляди расколет лопасти колеса, а то разворотит и всю плотину. Яков Павлович поугрюмел. Смотрел на заторины льда, навалившиеся на сваи, и спрашивал у себя: «Али ничего не сможем? Неуж всю работу собачке под хвост?»

С вечера выпал реденький снег, а ночная стужа смо-  
розила лед, и продвижка его задержалась. Яков Павло-  
вич разбудил председателя до рассвета, уволок его на ре-  
ку и, махнув рукой на сдавившие тело плотины глыбины  
льда, строго спросил:

— Что станем делать?

— Да чего уж тут. Ничего,— мрачно поморщился  
председатель.— Человек бессилен. Стихия. Придется  
смириться.

— А я не смирюсь!— встревожился мельник.— Не  
для того мы меленку возводили, чтоб уступить ее ледо-  
лому! Будем строить из бревен быки! Вон там! В полу-  
сотне шагов от плотины.

— Не успеть,— понурился председатель.

— Коль не будем лясы точить — успеем! Айда народ  
подымать!

Этот день всем запомнился в Ермакове, потому что  
и стар и мал были подняты спозаранку, чтоб спасти кол-  
хозную мельницу от беды. Яков Павлович бегал, ездил,  
приказывал, злился. Он был похож на артельного вожака,  
от которого все зависит — и сбор камней по угорам ре-  
ки, и подвозка бревен на тракторных волокушах, и рубка  
на смерзшихся льдинах двух водорезов, и загрузка их  
комьями, камнями и землей.

К обеду здорово потеплело, лед на реке подразмяк  
и стал колебаться, вот-вот готовый тронуться в путь. Два  
свежесрубленных, в двадцать рядов, еловых ряжа тяже-  
ло осаживались на дно. Их углы, обитые толстым желе-  
зом, отливали на солнце жестоким блеском. Мужики,  
заслышав ход под ногами, стремительно бросились от ря-  
жей. Последним бежал среди них весь запаренный, иску-  
павшийся выше колен, с топором за поясом мельник. На  
потном его лице блуждала улыбка. Да и у всех, кто сто-  
ял в ту минуту на берегу, было как-то приветливо на  
душе.

Поднятый волнами половодья лед угрожающе неся  
вперед. Дорогу ему преграждали два водореза. Лед на-  
бегал на них с толстым шипеньем, лез по железу, ломал-  
ся и падал обломками в реку.

«Вот оно дело рук человеческих!— думал Яков Павло-  
вич, глядя со всеми на водорезы.— Стоят, ровно ратники  
среди битвы. Любая вражина им нипочем...»

Поздний зимний рассвет. Зыбкий наливень света заливает лед на реке, слань, дорогу и мельницу, в невысоких дверях которой — и умен, и весел, и добр — сам дядя Яша. Рядом с мельником паренек. Говорит:

— Помельничать вот хочу!

Из-под белых бровей на мальчика блещут круглые, с хитрецей, все понимающие глаза:

— Сомневаюсь, сумеешь ли?

— А я уже дрова умею в поленницы ложить.

— Ну если дрова умеешь...

На задвижку ложатся ладони — детские и мужские. Движение рук — и кипящие струи реки тяжело устремляются вниз.

Снег. Вода. Багровое солнце. Запах бревен, зерна и мороза. У парнишки сердце в груди, будто радостный воробей, так уж прыгает, так уж летает. Очень хочется стать ему мельником — работающим, просужим и сильным, как дядя Яша.

## Привада

Бригадир Лушаков захотел свадьбу справить. А для этого деньги нужны. Стал растить на мясо бычка. Летом с бычком забот никаких. Знай выгоняй вместе со стадом на выпас. Правда, все выходные, все вечера потратил Степан на то, чтоб заготовить сена с запасом, благо сдавать скотинку решил не осенью, а зимой, чтоб побольше в ней набралось килограммов.

Бычок к началу покровских зазимков заметно подрос, объявились рога, небольшие, правда, но крепкие, какими можно пугать ребятню. Степан для него приготовил стойло в хлеву и ясли новые сколотил.

Встречали любимца обычно краюшкой хлеба. Животное так прирастилось к этой приваде, что без горбушки не шло и домой. Но в последний день выпаса стада Степан встретил бычка березовой вицей. Полагал, что и ею можно застать. Но он просчитался. Бычок даром что молодой, а с норовом оказался и побоев, видимо, не терпел. Брыкнул копытами — и через улицу, через прогон в озимое поле, а затем на поросший осинками косогор, а оттуда в густую ольховую чащу.

Где только Степан не искал своего бычка. Да только напрасно. Пришлось примириться с пропажей. Повздыхал Лушаков со своим семейством и решил со свадьбой пообжидать.

Весной, по последнему снегу, когда снег свободно выдерживал лошадь с санями, поехал Степан за сеном. За тем самым сеном, которое он наставил для неизвестно куда исчезнувшего бычка.

Приехал на пожню и обомлел. Одного стога не было вообще. А второй стоял с высокой сквозной дырой, из которой глядела звериная морда.

«Медведь!» — подумал Степан и стал разворачивать лошадь. Но развернуть не успел. Из стога выскочил черный, с могучей шеей и тупо расставленными рогами матерый бык.

— Мартик! — крикнул Степан, узнавая в быке пропaju.

Мартик выбил искры в снегу, непонимающе и угрюмо взглянул на хозяина и на лошадь и вдруг, вытянув шею, угрожающе проревел. Потом вздрогнул, повел ноздрями, узнавая запах хлеба, который забыл, но сейчас при виде пшеничного каравайка в руках Степана, наверное, вспомнил.

Человек и бык шли друг другу навстречу. Степан кормил быка пирогом, улыбался и разговаривал, как с возвратившимся другом:

— Что, Мартик, не надоело по лесу-то шляться? А? Надоело! Сбежал-то по кой? Али я тебя пару раз оплел, дак ты оскорбился? Ишь ты, какой недотрога! А ведь сенá-то свои нашел! Как знал. Еще бы маленько, и этот бы стог доел. Доел бы, Мартик? Доел! Пойдем-ко давай домой. Хватит валять дурака. Вот навалим на сани твои недоедки — и только нас видел...

Вечером у Степана перебивала почти вся деревня. Все с удивлением и восторгом рассматривали быка, который целую зиму прожил в лесу и нисколько не одичал. Кто-то предположил: не одичал, наверное, потому, что кормился собственным сеном. Потом у Степана спросили:

— А как он тебя узнал?

Улыбнулся Степан:

— По пшеничному каравайку...

### Почта на проселке

Дождь. Кривая проселочная дорога кипит снегом, зазорами и ручьями. В наполненных желтой водой колеях та неизвестная глубина, которой так суеверно боятся шоферы. Впрочем, шоферы сейчас не ездят. Машины у них стоят в гаражах. По разбитой апрельской дороге ходят лишь тракторы, кони и люди.

Металлическим лязгом пронизан осиновый лес. Ползет по дороге трактор. Плечом к плечу с трактористом

сидит конопатый Серега, который зимой доставляет из города почту, а летом пасет колхозных коров. Смотрит Серега с боязнью, как трактор заходит в огромную водополь, как волны ее толкаются в дверцу и, прорываясь в кабину, льются в ногах настоящим ручьем. Хватило трактора ненадолго. Застрял.

Почтальон спешит настичь низкорослую лошадь, везущую на телеге сивобородого деда с кулем. Догнал. Снял тяжелую сумку. Но коротко ехать ему довелось. Лошадь при виде близкой деревни встала, направив морду к домам. В глазах ее билось изнеможение. «Пойду распрягу», — буркнул старик и повернул с дороги к жилю. А молодой почтальон, грустный от мысли, что транспорта больше не будет, пошел месить сапогами грязь. Километр. Второй. Третий. Четвертый...

Лишь в потемках пришел Серега. Разнес почту по всем домам. А час спустя, переодевшись в сухое, гулял у друга на именинах.

Застолье. Смех. Бойкий говор тальянки. Веселый перепляс. А за окном все ближе и ближе к земле придвигалось апрельское небо, под которым в свисте тоскливого ветра и всплесках дождя бежала кипящая пузырями дорога.

— Серега?! — кричат почтальону. — Завтра снова за почтой пойдешь?

— А то! — улыбается почтальон.

## Егорий

Утром в тумане полей на игреневом быстром коне проскакал растрепанный всадник. Уж так он спешил, так спешил, правя коня по окраине пашни, что трудно было понять: то ли он спасается от погони, то ли сам кого-то хочет настичь? Кондрат Рухлов, работавший в мастерских на ремонте борон, увидел его и сказал:

— Это Егорий. Он по лесам разъезжает. Наказы зверью раздает.

— Какие наказы? — спросили его трактористы.

— А чтоб ни волк, ни медведь не трогал нашу скотинку...

Солнышко поднялось, зажигая на прошлогодней кве-лой траве кругленькие росинки. Механизатор Рухлов делает вывод:

— Роса выпала на Егорья — быть хорошим хлебом.  
Молодая спрашивает Кондрата:

— А ты в самом деле видел Егорья?

Механизатор клянется:

— Ей-богу!

— А куда он уехал?

— Вон! — показывает Рухлов за озимое поле, где темнеет еловый бор, и вдруг пугается и бледнеет.

По меже озимого поля на игреневом бойком коне мчался растрепанный всадник. Мчался мимо старых амбаров и ржавого грейдера к мастерским, возле которых Рухлов с молодой укладывал бороны в штабеля. Конь пронесся от них шагах в десяти. На седле долговязый пастух Серега с рыжеволосой, как солнышко, головой. Остановили его ребята:

— Откудова едешь?

Пастух натянул уздечку:

— Глядел выгона!

— И в елки небось заезжал?

— Было дело!

— Егорья не видел там?

— Какова? Скотопроводца?

— Ага!

— А это, по-вашему, кто? Аль не Егорий! — шлепнул Серега себя по плечу и, бахвалисто рассмеявшись, дернул коня за узду: — Не верите мне — справьтесь у Кондрата!

### На полой воде

Из ледяного мертвого заточения хлынул мутный, бормочущий, тысяченогий стремительный зверь, затопляя лодки, мостки, причальные слани, лестницы, огороды. Радость полой воды! Торжество большого разлива! Забивает обломками льда ольховый прилесок. Желтыми гребешками бегут по пойме отлогого луга первые волны. За ними — вторые. Там — и третьи. Четвертые — где-то вдали. Вольно сегодня реке. Для нее уже нет берегов. Они взяты прибойной волной, похоронены половодьем. Подводные берега. Надводные елки. Сорванный с цепи дощатый катер.



На лодке с длинным шестом плывет конопатый Серега. Вот он правит к затопленным пряслам, снимает с верхней жердины озябшего петуха. Затем толкает лодку к березе, на которой мяукает вымокший кот. После спешит к тесовым воротам, которые быстро несутся по мутной воде. Хватает с ворот собачку. Потом топчется к двум кряжам с застрявшим меж них серым, взъерошенным ревуном. Бороздит Серега реку, загружая лодку хвостатыми существами.

И было же радости у ребят, когда пастух, весь промокший, приткнул нос лодки к песчаному косогору. Кого-кого он не привез! Козленка с оборванной веревкой, двух мокрых куриц и петуха, собаку дворняжку, собаку лайку, до смерти испуганную овцу, трех котов, четырех котят и даже сумрачного крота, на которого почему-то никто не урчал, не лаял и не кудахтал.

Река проносилась от пятистенков в каких-нибудь двадцати шагах, подмяв под себя все нижние огороды, все старые гумна, амбары и ивняки. Река бормотала и клокотала, и было в ней столько мощи, столько лишних, напрасно швыряемых сил, что хотелось долго-долго смотреть сквозь потемки на ее бесцельный, свободный, стремительный ход. Смотреть, принимая душой стихию, как неразгаданную улыбку мелькнувшего мимо тебя лица.

## Откровение

В трех бригадах сев яровых начинают обычно по указанию агронома, а в четвертой — по знаку крестьянина Холмакова. Иннокентий Платонович Холмаков самый старый житель в колхозе, плешь по всей голове, одет в черное, ходит будто подстреленный грач.

Бригадир Лушаков с трактористом Рухловым выводят под ручки его за деревню, где до самого горизонта чернеют поля, по которым еще вчера ходили тракторы с боронами.

— Ну-ко, Кеша, послушай, чего она скажет?

Холмаков ложится на землю. Левое ухо, глухое, торчит лопухом, правое, чуткое, слушает землю. Лежит минут пять, потом дает знать, чтоб скорее его подымали. Стряхает комочки с лица и голосом важным, значительным, каким объявляют редкую тайну:

— Помешкать, робята, надо. Пушай седни еще попреет. А завтра с утречка с богом!

Бригада Степана Петровича Лушакова что ни осень, то собирает в колхозе самый большой урожай. Из намолотого зерна выпекают пшеничный пирог. Несут его Холмакову. Старик разламывает пирог, нюхает всем лицом и весело обещает:

— Я еще помешкаю помирать, робята. Подожду до весны. А там по новой пойдем землю слушать. Уж кого-кого, меня она не обманет.

Бригадиру приятно, что самый старый житель деревни весел, бодр и хочет еще тряхнуть стариной. Лушаков говорит:

— Завтра приедут буровики. Станут бурить скважины для колонок. Ты бы, Кеша, им показал, где у нас тут прячутся водяные жилы.

Иннокентий Платонович розовеет — и лицом, и ушами, и плешью.

— А чего?! — отвечает польщенный. — Это можно. У земли от меня нет секретов. Что на ней и под ней — все поведает без утайки. Она любит меня, робята. И я ее тоже.

### Именинник

Бригадиру сегодня исполнилось тридцать лет. Но он никому об этом не говорит. Попробуй скажи — сорвется и посевная, и постановка пастбищных прясел, и ремонт оборванных проводов. Маленький, остроносый, в больших резиновых сапогах, ноги в которых болтаются, как мутовки, он бойко бегаёт по деревне. Вернее, не бегаёт, а летает. Так летает, что хлопают полы плаща, а голенища сапог издают свистящие звуки. Ругает доярка за то, что те коров не выгнали на выпас. Придирается к плотникам, строящим новый колхозный двор:

— Али я такое приму? Воно щель! А воно другая! Да туда моя голова пролезет. А ну поправляй, покуда я добрый!

И так целый день командует, бегаёт, поправляет.

Вечером Лушаков с практикантом училища Петей Гилевым переправлял на пароме голубенький «Беларусь». Гилев позабыл положить под колеса плахи, и трактор

от волн проплывшего катерка дрогнул, тронулся, пока-  
тился, и только успел практикант выпрыгнуть из каби-  
ны, как бухнул с парома в реку. Петя стоит с дико сби-  
тыми волосами:

— Кабы знал... Кабы знал...

Встал бригадир на краю парома, смотрит в хищную  
глубину:

— А ну, Петруха, веревку!

Пока практикант за веревкой бегал, Лушаков раз-  
болокся.

— Где наша не пропадала! — крикнул на всю реку  
и с канатом в руках прыгнул солдатиком в воду.

Петруха глядит в грязно-желтую майскую воду, ку-  
да вползает крученный канат. Но вот канат успокоился  
и затих, свернувшись, как кот, в ногах у Гилева. И это  
Петруху так напугало, что он замахал руками, забегал  
вдоль борта и горестно-горестно закричал:

— Товарищи! Ой! Захлебнулся!!!

Но бригадир Лушаков, тощенький, скользко прили-  
занный, перемерзший, уже вынырнул из воды.

— Захлебнулся-то кто? — подает недовольный го-  
лос. — Только дурак! А ну живо руку. Нече по мне па-  
нихиду служить...

Через час подошел трактор Кондрата Рухлова и ос-  
торожно, будто тащил из реки водяного, пополз по  
песку на угор. «Беларусь» появился из глубины, го-  
лубой, в мокрых зависях желтой травы, словно выходец  
с того света.

— А ну, мужики! — скомандовал бригадир, когда  
трактор был вытащен из воды. — Теперь ко мне на со-  
грев!

— Не пойдем! — отказались Кондрат и Петруха. —  
Мы ведь не испукамшись...

Лушаков рассмеялся:

— Да не поэтому я зову! Сегодня я именинник. Вот  
почему.

## Сборы

В июльскую пору, когда вздыхают под косами травы,  
гудят пауты и пахнет терпкой душицей, Иннокентий Пла-  
тонович заболел. Ходит с ноющим сердцем по пятистен-  
ку, глядит в пригретые солнышком окна и думает про

себя: «Время и собираться. Сколь годов поцарствовал на земле? Без малого семьдесят пять. Хватит. Смертонька, видимо, на носу».

Иннокентий Платонович всю свою жизнь без остатка вложил в колхоз. Был председателем, бригадиром, старичничал много лет. За работу лишка не получал. И теперь считает, что есть за колхозом хороший должок. Старику немного и надо — чтоб не забыли его — и только. Не теперь не забыли, а после, когда он испустит последний вздох и придется кому-то сколачивать домовище, кому-то везти его на погост, кому-то могилу копать, а кому-то справлять по нему поминки. На такие дела у него оставлено триста рублей. Так что не деньги его беспокоят, а уважение земляков. «Кто, интересно, мне смастерит домовище?» — думает он, перебирая в уме всех державших топор мужиков. И тревожится не на шутку, смекая, что каждый способен ему смастерить, но смастерить второпях, кое-как, лишь бы отделаться поскорей от этой не очень приятной работы.

— До такого не допущу! — приобиделся старый. Но обида затихла, как только родилась мысль: «Зачем кого-то обременять? Али уж сам не излажу. Седни же и начну, пока не охляп, как березовый пень».

Не спеша, сберегая больное сердце, которое затаилось, как курица на насесте, Иннокентий Платонович взялся строгать на сарае сосновые доски.

Работал три дня, одолевая слабость в груди и ворчание старой Дарьи. На четвертый день приехал на «Запорожце» из города сын. Привез на пол-лета свою пятилетнюю Люську, тонкую, бледную, похожую на росток вынутый из подполья картошки. Сын пробыл дома около часа, пообедал со стариками, сбродил на реку, купался и снова уехал. Люська же стала знакомиться с домом, хозяйством и огородом. Съела морковку, погладила морду овцы, поиграла с котенком и заглянула на стук молотка в прохладный крестьянский сарай.

— Ты, дедушка, домик строишь?

Иннокентий Платонович растерялся:

— Не домик, а домовище.

Люська заулыбалась:

— Какой он красивый! Давай я буду в нем жить!

— Нет, нет! — оборонился старик руками. — Тебе еще рано.

— А не рано кому? — спросила Люська. — Бабушке нашей?

Опять Иннокентий Платонович растерялся и, не зная, как отвязаться от трудных вопросов, несмело пробормотал:

— И бабушке рано.

— Значит, тебе?

— И я еще не поспел.

— А когда поспеешь?

— Когда крепко засну, и бабушка мне закроет глаза пяточками.

Люська в ладошки захлопала:

— Как интересно! А пяточки это денежки?

— Денежки.

— Ой! — девочка словно бы поняла, что спрашивает плохое, и в васильковых ее глазах промелькнул недетский испуг. — Не надо, дедушка! Не хочу, чтобы ты засыпал, а бабушка закрывала твои глаза пяточками. Не засыпай, пожалуйста, ладно? А то я на тебя рассержусь.

Не пришлось малютке сердиться на деда. Тот как-то быстро пошел на поправку — боли из сердца ушли, лицо посвежело, а руки снова, как в лучшие годы, стали искать посильное дело, жить без которого не могли.

Минул год. И опять сенокосное лето, в разгар которого на «Запорожце» со своей шестилетней Люськой приехал из города сын. Сын был занятым человеком, в этот же день и уехал. А дочка его, как и в прошлом году, осталась. Знакомясь с хозяйством, пришла однажды к дедушке на сарай, пошныряла глазами туда-сюда и спросила:

— А где этот домик, в котором ты собирался заснуть?

— Вон, — показал Иннокентий Платонович на заваленный рухлядью угол, — я его закидал тряпьем да старыми сапогами.

Глаза у девочки засияли:

— Правильно, дедушка, молодец! Этот домик был у тебя для сонного человека. А ведь мы с тобой не такие. Мы никогда-никогда в нем не будем спать.

— Хорошо бы, — вздохнул Иннокентий Платонович, улыбаясь той невозможной мечте, в которую так наивно и искренне верят дети.

# Содержание

## Перегон

Великий Двор . . . . .	3
Рябчики на завтрак . . . . .	21
Под малиновой мглой . . . . .	33
Перегон . . . . .	45
Два кита . . . . .	52
За чем пойдешь . . . . .	78
Непредвиденный случай . . . . .	85
Принцип . . . . .	94
Пропажа . . . . .	106
Пошада . . . . .	125

## Среди своих

Сыновья и гости . . . . .	139
Фотокарточка в рамке . . . . .	145
Ливень . . . . .	150
Семь березовых голиков . . . . .	158
Великан . . . . .	162
Овсяное зернышко . . . . .	168
Чужая печаль . . . . .	173
Полушубок для Мити . . . . .	182
В Николе в гостях у Николая Рубцова . . . . .	185
Была ли ссора . . . . .	202
Ни вдова, ни девушка . . . . .	204
Чистильщик . . . . .	206
У родного крыльца . . . . .	208
Управитель . . . . .	211
Законное место . . . . .	214
Мило-дорого . . . . .	216
Воспоминание . . . . .	219
На пароходе . . . . .	221
Подарок . . . . .	223
Примета и суть . . . . .	225
Старая песня . . . . .	227
Зов . . . . .	228

## Голоса земли

Посреди дороги . . . . .	231
Мужское дело . . . . .	233
Гражданин-помощник . . . . .	237
Паренек и мельник . . . . .	241
Голоса земли . . . . .	246
Привада . . . . .	246
Почта на проселке . . . . .	247
Егорий . . . . .	248
На полой воде . . . . .	249
Откровенне . . . . .	250
Именинник . . . . .	251
Сборы . . . . .	252